

---

---

В. ТЕНДРЯКОВ

★

## САША ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ

*Повесть*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

**Д**ушной июньской ночью Комелев вышел из Сташинского сельсовета, где проводил заседание партактива, сел в машину, уткнул в грудь подбородок и задремал...

На крутом повороте у моста через реку Шору шофёр вдруг почувствовал, что Степан Петрович всем телом мягко привалился к его боку. Шофёр затормозил на мосту, испуганно тряхнул за плечо, сдавленным голосом окликнул. Комелев не ответил...

Врачи установили — инфаркт.

Секретаря райкома Комелева хоронили через два дня.

Впережку с невысоким соснячком стояли кресты и скромные деревянные обелиски с выцветшими фанерными звёздами. Пока не пришёл народ, на этом тихом сельском кладбище хозяйничал дятел, выбивал звонкую дробь, дурманяще пахло нагретой на солнцепёке земляникой.

В Коршуновском районе не было оркестра — люди молча обступили могилу, из которой тянуло влажным погребным холодком. Дятел спрятался и притих. Крепкий запах земляники как-то сам собой рассеялся.

Председатель колхоза «Труженик» Игнат Гмызин, вместе с другими нёсший гроб, осторожно освободил плечо от полотенца, смятой кепкой вытер лоб и бритую голову.

Гроб лёг на край могилы. Комелев, тучноватый, важный, с большим жёлтым, мертвецки матовым лбом, лежал, накрытый по грудь, в своей чёрной гимнастёрке, в которой его привыкли видеть при жизни.

Первым, приминая влажный песок, поднялся на насыпь второй секретарь Баев. Его лицо было усталым, потным от жары, на подбородке заметно выступала щетина.

Игнат Гмызин, отступив в сторону, стал разглядывать собравшихся. И с покойным Комелевым и с теми, кто его провожал, Игнат проработал много лет.

В изголовье гроба стоит шурин Игната, заведующий отделом пропаганды и агитации райкома Павел Мянсуров, плечистый, подобранный, как всегда шеголеватый — полотняный китель выутюжен, лёгкие сапожки лишь чуть припудрены пылью. Он уронил курчавую голову, хранит в статной фигуре торжественность.

За его спиной, подставив под солнце крепкий ёжик рыжеватых волос, сутулятся инструктор райкома Серафим Сурепкин. Сгорбленность, скорбная усталость на лице, даже торчащие просвечивающие уши — всё означало, что он убит горем. Но Игнат знал: Серафим Сурепкин гото-

вится выступить и, наверное, настраивает себя. Ни один митинг, ни одно совещание не могли пройти без выступления этого человека. Покойный Комелев звал его: «Серафим Златоуст».

Заслуженный учитель Аркадий Максимович Зеленцов, чопорно аккуратный в своём длинном стариковском пиджаке, с грустным спокойствием глядит прямо перед собой. О чём он думает сейчас? Может быть, о том, что он старик и ему тоже придёт черёд лежать так, лицом в небо, и бесстрастно слушать печальные речи; может быть, по своей привычке философствовать над всем, высчитывает, как коротка в масштабах вселенной человеческая жизнь.

Тут же, почти па голову выше старика, стоит его внучка, красавица Катя Зеленцова. Маленькая, гладко зачёсанная девичья голова вскинута, бровастое лицо сурово, а большие глаза скрытно тревожны — она не привыкла видеть смерть близко, смерть пугает её.

У ног гроба — семья покойного.

За юбку матери держатся дочери. Младшая, лет шести, не глядит на отца, озирается кругом. На заплаканном грязном личике не видно горя, оно лишь выражает испуг. А старшая, с пионерским галстуком на шее (её вызвали на похороны из пионерлагеря), ткнулась под руку матери, плачет и плачет безудержно.

Сын Комелева, уже взрослый парень, в этом году кончающий школу, стоит прямо, придерживает мать и не плачет. Но по его красным глазам можно догадаться, что плакал он дома, а бледное лицо, судорожно сведённые челюсти говорят — всё своё горе выплакать не успел, сейчас зажал, спрятал его от посторонних.

Зато мать, повязанная по-деревенски белым платочком, концами вниз, держится на ногах, лишь вцепившись в сына. Лицо её опухло от слёз.

Она вышла за Степана Комелева, когда тот был ещё простым крестьянским парнем. Он рос, она оставалась прежней, деревенской, любящей посудачить бабой, больше всего боявшейся, чтоб её Стёпа не уехал без овчинной душегрейки в командировку. Она жила не его интересами, но для него, другой жизни не представляла. Чувствовалось: хочется ей завывать в голос, истошно, по-деревенски, по-бабы выкричать горе, облегчить сердце, но разве можно — все кругом в чинном молчании стоят и слушают.

Игнат ошибся: после Баева вышел не Серафим Сурепкин, а шагнул к могиле и повернулся лицом к людям Аркадий Максимович.

Глуховатым, негромким и в такой обстановке удивительно спокойным голосом старый учитель заговорил:

— Я знаю о том, как Степан Петрович любил детей. Тот, кто любит детей, любит в людях будущее. Любить будущее людей — это даже больше, чем просто любить. Он любил вас, товарищи...

Слова Аркадия Максимовича словно разбудили Игната.

«Любил?.. А ведь правда!» Ему вспомнился этот неторопливый, несколько вяловатый в движениях человек. Приезжая в колхоз, он оставлял машину у обочины дороги и враскачку, медленным шагом обходил от поля к полю бригады. Никто никогда не слышал от него жалоб ни на больное сердце, ни на больные ноги. Ради людей — да, прав старик, — ради их будущего он не жалел себя.

Он любил!.. Но не только же родные Комелева — жена, сын, дочери — должны переживать смерть, как личное горе. Потерянная любовь — несчастье. И самая скромная цена за эту потерю — слёзы. А слёз нет. У всех печальные лица, все до единого невеселы, но кто может быть весёлым на похоронах?

А он сам, Игнат?.. У него тоже нет слёз, только теперь, после слов Аркадия Максимовича, он испытывает лёгкое угрызение совести.

Комелев не берёт себя на работе, не следил за своим здоровьем, отмахивался от врачей... Сейчас все слушают Аркадия Максимовича и своим

печальным молчанием соглашаются: «Да, он любил нас...» И только жена Комелева, привалившись головой к плечу сына, стала сильнее всхлипывать.

Приготовились опускать гроб.

Сам райвоенком, молодеватый мужчина, выразив почему-то на своём лице угрозу, блестя золотом нарукавных нашивок, поднял руку и, резко опустив её, выдохнул:

— Пли!

Десять парней из общества Досааф ударили из винтовок в воздух. В глубине кладбища испуганно забились на деревьях вороны.

Жена Комелева бессильно опустила на усеянную сосновыми шишками землю и, не сдерживаясь, в голос запричитала. Не выдержал и сын: он стоял над матерью, глядел в могилу, и слёзы текли по его бледному искажённому лицу.

Каждый из присутствовавших подходил, набирал горсть влажного песку и кидал в могилу. Вместе с Игнатом подошёл Павел Мансуров. Бршленная ими земля одновременно мягко шлёпнулась о крышку гроба. Народ расходился, мужчины надевали фуражки.

Окружённая женщинами, лежала на земле жена Комелева. Голос её разносился над тихими могилами, заросшими ромашками, подорожником и аютиными глазками.

— Стё-ёпу-ушка-а! Ро-о-одимый!

Ветхая старушка с посошком, в платке, повязанном низко, по самые брови, из тех, кто живёт прошлым, ходит на кладбище и в родительскую неделю и помимо неё, остановив выцветший взгляд на Игнате, спросила:

— Кого, милый, хоронют?

— Секретаря райкома, бабушка. Комелева, — ответил Игнат.

— Из начальства, видать. С ружей палили. — Старушка, повернувшись лицом к могиле, перекрестилась. — Прими, господи, душу раба твоего.

Просьба была произнесена скучным голосом, по старушечьей обязанности.

Об умерших говорят хорошо или молчат, но думают о них по-всякому. Игнат шёл от кладбища вместе с Павлом Мансуровым. Оба молчали.

Комелев любил народ, а в районе не много было крепких колхозов. В МТС не могут обучить специалистов. Поломанные тракторы нередко по полгода простаивают около полей...

Просто любить — куда легче, чем доказать любовь.

## 2

Приезжая из своего колхоза в райцентр, Игнат всегда останавливался у Павла Мансурова.

С лоснящейся от пота бритой головой, покачивая полными покатыми плечами, казалось, ещё больше раздавшийся в ширину от полуденной жары, Игнат вошёл вслед за хозяином и опустился на диван. Старенькие пружины жалобно звякнули и смолкли под его тяжёлым телом.

В комнату заглянула Анна, жена Павла, сестра Игната, спросила деловито: «Вернулись? Оба?» — и ушла в кухню, загремела посудой. Скоро оттуда сиплым тенорком запел примус. Живые продолжали жить своим чередом — подходило время обеда.

Павел скинул китель и в одной майке ходил по комнате, заложив руки за спину. Где-то по отцовской линии в нём была примесь татарской крови. Это сказалось на внешности: широколиц, смугл, скуласт, но курчав не по-азиатски, мужественно красив. В эту минуту походка у него была нервная и в то же время мягкая, расчётливая — ни разу не задел ногой расстав-

ленных в беспорядке стульев,— сутулился слегка, серые небольшие глаза потемнели, в них пропал блеск.

Игнат, вытирая мягкое распаренное лицо, понимающе смотрел: опять какой-то бес на мужика напал...

— Что мечешься? — наконец спросил он. — Смерть так задела? Комелева жалко...

— Не Комелева — себя жалко. — Павел остановился, пружинисто повернулся и заговорил, приближаясь из угла комнаты шажок за шажком. — Я в судьбе Комелева свою судьбу вижу! Работал человек, как вол, не знал покоя. Командировки, ночёвки на столах, иссушающие мозг заседания, вечный страх за урожаи, за лесозаготовки, за выполнение поставок.

— Эге! Работа тебя пугать стала. Это, брат, стариковская немощь. Рановато в тридцать-то пять лет.

— Пугает не это! Готов на любую работу, пусть впятеро тяжелей комелевской! Но лишь бы толк видеть. Толк, Игнат! А у Комелева во всех его командировках, заседаниях, беспокойствах была какая-то бессмысленность. Ломил, тянул воз через силу, сгорел на работе, а вспомнить нечем. «Любил», «был честным» — общие слова, разве это заслуга! Мне той же дорожкой итти. Вот что пугает!

— Ты сам себе хозяин. Делай свою работу не бессмысленной.

— Хозяин?.. Гм... Дежурное слово. Затыкают им, как пробкой пивную бутылку, из которой хлещет пена. Ты мне близкий человек, почти брат, вот ты пойми простые слова: не получается! С семнадцати лет пытаю судьбу, ищу чего-то большего, хочу расправить плечи. Из глухой деревни ушёл учиться. Советовали стать бухгалтером. Пробовал, полтора года изучал балансы да кредиты, пока от этой пищи киснуть не стал. Раскачивал канцелярские стулья молодым задом, верил, что найду, вырвусь. И вот новый институт. Впереди диплом инженера-геофизика, экспедиции, палатки среди дикой природы, диссертации в кабинетной тишине... Красиво! Учился, вгрызался в науку, часто хлебом да водопроводной водичкой питался. Хлоп — война! С третьего курса маршевой ротой с песней: «Шёл, шёл герой, на разведку, боевой!..» По тылам не околачивался, до майора взлетел за четыре года. По строевой командиры полка замещал. Что скрывать, мерещились мне будущие бои за мировую революцию, победы под командованием генерала Мансурова... Война кончилась, спросили: «Не кадровый офицер?» Нет. «Пожалуйста в запас». Доучиваться в институте поздно, да и вкус к наукам пропал. Сел вот в райком на заводские пропагандой и агитацией. В другом месте я бы, может, смог быть хозяином своей жизни. А мне сыплют инструкции, со всех сторон указывают, меня со всех сторон подталкивают: делай так-то, делай то-то, не иначе. Кто эти инструкции пишет? Кто указывает? Такие, как Комелев. Попробуй, докажи им свою самостоятельность.

На смуглых скулах Павла проступил сухой кирпичный румянец, из-под приспущенных век диковато блуждали до густой синевы потемневшие глаза. Игнат сидел развалясь, сложив на заметно выступавшем животе свои громоздкие сильные руки, и следил за каждым движением Павла.

— Комелев был доволен своей судьбой, — продолжал с той же горячностью Павел. — Для него место районного секретаря — потолок. Я силы чувствую, расти хочется, а вот застыл, как гриб, прихваченный заморозками. Мой рост, моё движение не зависят от меня. Захотят — продвинут, не захотят — оставят киснуть на той же должности.

Игнат с недоверчивой улыбкой покачал головой.

— А ты, брат, ой, честолюбив. Сидит где-то в тебе чёртик, не даёт покоя. Ты плюнь на него — просто живи, работай, чтоб польза была.

— Честолюбив! Может быть. Разве это порок? Каждый должен иметь такое честолюбие. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.

Мне хочется средь людей быть лучшим! Попробуй, упрекни меня за это! Хочу! Мечтаю!..

Вошла Анна, деловито оборвала спор:

— Кончайте, на стол собираю.

Была она прямая, тонкая и угловатая, не в пример широкому, раздобревшему брату. Блёкло-миловидное лицо, окружённое пышно взбитыми сухими волосами. Сейчас, перехваченная по талии чистеньким фартучком, Анна двигалась по комнате плавно, острые локти прижаты к бокам, кисти рук выставлены вперёд, точно она их только что вымыла, держит на весу, чтоб вытереть.

— Павел заведётся — до поздней ночи его не остановишь. Что хочет — не поймёшь. Тебе, Игнат, с ним спорить — время терять. Завтра у тебя экзамен. Тебя это не пугает, обо мне подумай — мне же краснеть придётся.

Игнат поднялся.

— Верно, Аннушка! — Он повернулся к Павлу. — Я на свою судьбу смотрю просто: не попаду вот в институт, придётся мне в деды записаться, на завалинке с ребятишками свистульки лепить. Сдам завтра с сынишкой Комелева экзамен — буду счастлив.

Павел сердито хмыкнул в сторону.

### 3

Ещё в годы молодости, в школе крестьянской молодёжи, Игнат кончил восемь классов. Как-никак образование — знал не только дроби, но имел понятие об алгебре и геометрии. И, как многие деревенские парни, решил: не след торчать в деревне, пахать землю и «прятать» навоз. Сначала поступил продавцом в лавку Остановского сельпо, отвечивал соль и леденцы, разливал по бутылкам керосин. В том же селе Останове поставили большую мельницу-вальцовку, Игната назначили заведующим. С мельницы перевели заведующим райпищепромом, оттуда — на ссыпной пункт, тоже заведующим, потом — заведующим в райзаготзерно... Он стал руководящим работником, мелким заводом и человеком без профессии. В каждом райцентре встречаются такие люди, которые почему-то, всем кажется, имеют особые способности к заведованию.

И Гмызин заведовал. На окраине районного села Коршунова он поставил дом — перевёз сруб из деревни, — завёл огород, корову, пяток ульев. По утрам выходил в контору, ездил время от времени в командировки, в свободное время копался на огороде. Свой дом, своя корова, своя картошка с огорода, свой мёд с пасеки.

Война встряхнула, но не изменила этой жизни.

Игнат был на фронте, вернулся с погонами старшины, с двумя медалями «За отвагу», с нашивками за лёгкие ранения. Но едва только он появился, как в райисполкоме вспомнили: ведь это Игнат Гмызин, надо его снова поставить заведующим в «Заготзерно».

Началось укрупнение. Вместо мелких, в одну-две деревеньки, колхозов в районе стали создаваться колхозы по семи, по десяти деревень. Райком партии направил в колхозы районных работников. Среди них оказался и Игнат Гмызин.

Мирона Сухотина, такого же, как и Игнат, районного работника, через полгода сами колхозники попросили убираться подобру. Бригадир у него пьянствовал, у свинарок дохла поросята, весенний сев закончили в июне. Пришлось поставить Сухотина обратно в контору «Заготскот».

Работая продавцом сельповской лавки или заведующим «Заготзерном», Игнат болел душой, если в покосы день за днём начинал сыпать дождь, радовался, если выдавалось ведро; когда в МТС прибывали новые тракторы, бежал смотреть на них. Отец, дед, прадед — все у него были

крестьянами, и Игнат в душе оставался им, хотя в анкете против графы «соцположение» писал: «Служащий».

Первые дни, когда в колхозе его выбрали председателем, он действовал так, как в любом новом месте заведующим. Антип Кошкарёв, его заместитель, пил — снял его. Степан Ложкин три раза ездил в город за движком к силосорезке, тратил на командировки по две тысячи, жаловался и божился, что нигде нет таких движков. Игнат сам поехал, купил, потратил на всё только полторы тысячи с копейками, а Степана Ложкина отдал под суд за воровство.

Честность, которой Игнат отличался в молодости, развешивая леденцы и разливая керосин в сельповской лавке, да здравый ум — вот и всё, что имел он, став председателем самого большого по району колхоза «Труженик». И этого было мало...

В колхозе — более четырёх тысяч гектаров пахотной земли, урожаи на них низкие. Почему? Надо знать.

В колхозе — девятьсот гектаров заливных лугов, а трава год от году на них хуже. Почему? Надо знать.

В колхозе — сто коров, это мало, плохой прирост. Почему? Надо знать. Всюду — надо знать!

В соседний колхоз, где чуть ли не с начала коллективизации председателем был старик Федосий Мургин, прислали молодого агронома Алёшина. Он стал заместителем Федосия. Мургин, как и прежде, невозможно важный, с сознанием своего десятилетиями завоёванного авторитета, ездил по полям на пролётке, указывал, распоряжался. Алёшин бегал пешочком по горячему следу председательской пролётки и поправлял: «Верно сказал Федосий Савельич, только сделать лучше так-то». Сначала колхозники удивлённо качали головами: «Гляди-тко, Савельича поправляет, бедовая головушка...» Но так как старый председатель был покладист, не возражал молодому агроному, то все стали принимать это, как должное.

Игнат, наблюдая со стороны, понял, что год-другой, ну, пять лет от силы, он ещё будет нужен колхозу, но придёт время, и все почувствуют — у него за душой только честность, здравый ум да обрывочные, схваченные походя, знания. Пробьёт час — и волей-неволей придётся уступить место такой вот «бедовой головушке». Надо учиться.

Можно настоять, чтоб послали в областную школу колхозных кадров; можно поступить заочно в сельхозтехникум. Но в областной школе и в техникуме надо учиться четыре года. Четыре года тут да пять лет в институте, а Игнату под сорок и семья на шее.

В вечерней школе для взрослых в селе Коршунове было всего восемь классов. Игнат решил подготовиться и сдать экстерном за десятилетку.

## 4

Огромный букет полевых цветов, поставленный на красный стол ещё в первый день экзаменов, давно завял и осыпался. Билеты, веером разложенные на кумачовой скатерти, подчёркнуто серьёзные лица членов комиссии, стук мела по доске среди напряжённой тишины — всё это уже повторялось много раз. Даже волнение стало привычкой.

Десятиклассники сдавали последний экзамен на аттестат зрелости.

Сегодня сдавал Саша Комелев. Смерть отца, похороны — более уважительных причин не существует, но от экзаменов они не освобождают. Директор предложил перенести экзамены на будущий год — Саша отказался.

Все, притаившись, следили, как Саша выводит формулы. Никто из учеников в эти минуты не гадал про себя: какой из билетов уже взят и отложен в сторону, какой из лежащих на столе может выпасть на его

долю. На время каждый забыл о своей судьбе. В глазах, следивших за Сашей, вместе с участливым страхом — а вдруг да срежется? — светилось чисто ребячье любопытство: как будет он вести себя?..

Но это любопытство мало-помалу исчезло. Саша вёл себя, как всегда, только голос его был немного тише обычного. Он споткнулся два или три раза — ничего удивительного, по геометрии никогда не был отличником.

Анна Егоровна, сестра Игната Гмызина, принимавшая экзамен, слушая Сашу, всё время без причины поправляла свои сухие волосы, заполненные падавшим из окна солнцем.

— Не торопись, Саша... Не спеши, подумай.— В её голосе слышалась просьба.

Игнат сидел в классе и, как все, с напряжением и сочувствием следил за ответом паренька. Странно было видеть Игната среди учеников: белый бритый череп, грубоватое мясистое лицо, кисти рук тяжело лежат на крышке школьной парты.

— Будут дополнительные вопросы? — обратилась Анна к членам комиссии.

Те закачали головами: нет, нет...

По классу разнёсся облегчённый шумок — Саша сдал. Поскрипывая новыми — недавно с колодки — сапогами, пряча на лице неожиданно вспыхнувший румянец, он вышел из класса.

— Гмызин.

Неуклюже выпростав ноги из-под тесной парты, Игнат поднялся над девичьими расчёсанными проборами, над спутанными шевелюрами ребят, большой, грузный, чуточку сутуловатый, сам подавленный своим несоответствием со всем окружающим. Но когда он остановился у стола, протянул руку к билетам, затаённое ученическое волнение застыло в его крупных морщинах. На лбу и на широком носу выступила испарина. Но только на секунду — билет был взят, морщины разгладились.

Он подошёл к доске и, кроша мел, принялся неумело и старательно рисовать нечто похожее на большой, гладкий, с ровными срезами пень. Анна, слушая ответ очередного ученика, время от времени косилась на рисунок, который мало-помалу покрывался линиями, кругами, латинскими буквами и, теряя схожесть с пнём, приобретал достойный для геометрической фигуры замысловатый вид.

— Слушаем.— Она наконец всем телом повернулась к рисунку.

Как не особенно искушённые ораторы на собрании, Игнат глуховато кашлянул в кулак — вот-вот обронит привычное: «Товарищи!..» — и заговорил неожиданно виноватой скороговоркой:

— Боковая поверхность усечённого конуса равна произведению полусуммы длин окружностей...

У дверей класса Игната Гмызина встретил директор школы и долго тряс руку.

— Поздравляю вас с аттестатом зрелости. От всего сердца...

— Спасибо, спасибо,— добродушно улыбался Игнат.— Вроде позденько я созрел, да, видать, каждому овощу — своё время.

Здесь, в коридоре, он перестал быть учеником и держал себя с директором привычно, как равный с равным.

Говорить им было не о чем, но директору не хотелось так быстро расставаться с этим большим, сильным, бритоголовым человеком в вылинявшей гимнастёрке. От осанистой фигуры, казалось, как от нагретого солнцем камня, несло теплом и тянуло запахом вянувшей травы — луга.

— Может, вы будете до конца последовательны — останетесь на выпускной вечер? Вместе с молодёжью отпразднуете?

— Не с руки... Я уж по-своему...— Игнат весело подмигнул, щёлкнул по горлу.

Директор рассмеялся, но в то же время не забыл и оглянуться по сторонам — не заметил ли кто из учеников этот слишком вольный для стен школы жест.

Наконец они расстались, и под тяжёлыми шагами Игната заскрипела лестница.

Внизу, на лестнице, привалившись к перилам, стоял Саша Комелев. Он повернул навстречу Игнату лицо.

— Игнат Егорович, на минутку... Поговорить надо.

— Поговорить?.. — удивился Игнат.— Слушаю, брат.

С бледного заострившегося лица серьёзно и требовательно смотрели на Игната зеленоватые прозрачные глаза, над выпуклым, чистым мальчишеским лбом коротко подстриженные волосы торчали упрямым «коровьим зализом».

«Эк тебя за эти дни перевернуло», — отметил про себя Игнат.

— Игнат Егорович, — отводя взгляд, произнёс Саша напряжённым баском, — примите меня к себе в колхоз.

— В колхоз?..

— Да, работать.

— Ты ж, слышал я, в институт собирался.

Растерянно, на этот раз влажно заблестели глаза Саши.

— Потом, может, и в институт... Мать теперь одна, сестрёнки.

Игнат поспешил перебить его:

— Добро. Об этом ещё потолкуем. Ты свободен?.. Хочешь — едем сейчас. Меня лошадь ждёт.

## 5

Выехали из села.

Игнат неподвижно возвышался в пролётке. Саша, притиснутый им, косился, тайком разглядывал председателя: мягкую кепку, натянутую на объёмистый череп, багровую складку шеи, налегающую на воротник гимнастёрки.

Несколько раз Игнат оглянулся по сторонам, озабоченно качнул головой, вздохнул:

— Ну и ну, не ко времени...

Без того низко опущенные ветки придорожных ив теперь вовсе спикли — каждый листочек устало глядит вниз. Над белой кашкой, что растёт у самой обочины, не трудятся пчёлы. Не слышно птичьих голосов. Ничего живого кругом. Над землёй, обременённой зеленью, насторожённая тишина и запустение. Самый воздух чист и неподвижен. На небе вянют несколько безобидных облачков, но будет дождь, непременно.

— Так говоришь — матери помочь надо? — оборвал молчание Игнат.

— Кто ж ей теперь поможет, кроме меня?

— А почему в колхоз решился? Почему не в учреждение? В культпросвете работника ищут...

— В колхоз хочу. — В голосе Саши послышалось сердитое упрямство.

Игнат с пристальным любопытством взглянул через плечо, отвернулся и вдруг забасил над притихшей дорогой:

— Эй, ты! Счастье ленивое! Идёт — копытом о копыто задевает!.. Я вот тебя!..

Конь бодро заиграл по булыжнику подковами, пролётку затрясло.

Давным-давно в одной книжке Саша прочитал такие слова: «Когда горит дом, часы в нём всё равно продолжают идти». Прочитал и забыл. Затерялись они в памяти, как сорвавшаяся блесна в пенистом омуте.

В день похорон отца Саша неожиданно вспомнил их.



В тот день он понял, что не было никого для него ближе и дороже на свете, чем отец. Ближе матери... Раньше не замечал этого, не ценил частых откровенных разговоров с отцом.

Издали, из раннего детства, стали всплывать полузабытые воспоминания.

Саше шесть лет. Отец ведёт его за руку через распаханное поле. Саша часто спотыкается, ему тяжело идти по отвалам. Последние разгулявшиеся ласточки бесшумно вверх-вниз перечёркивают красный закат, тонущий за лесами. По полю ползает трактор, ровно стучит мотором, покашливая, выбрасывает из трубы мутновато-лиловый дымок. Время от времени слышен скрежет подвернувшегося под лемех булыжника. Из-под растопыренной железной пятерни плуга тяжёлыми, густыми ручьями течёт земля. Отвалы её тускло лоснятся на закате.

Отец остановился, нагнулся и полной пригоршней забрал землю, поднёс к лицу. Трактор, с деловитостью втянувшегося в работу труженика, попыхивая, удалялся.

— Чуешь, пахнет?.. — произнёс отец.

Саша тоже схватил горсть, поднёс к носу. Но земля пахла землёй.

— Не поймёшь ты — мал. Я в твои годы мог понять. Чистый хлебушко только в праздники ел, в будни-то на мякинке... Нужно бы так, чтоб хлеб как воздух был, чтоб о нём люди не думали.

Не через слова — они и на самом деле были не совсем понятны, — через подобрешный голос, через непривычно мягкое лицо отца шестилетний Саша почувствовал тогда смутную благодарность к земле. Как драгоценность, держал её, горсть влажных крошек, по-отцовски бережливо мял, нюхал. Земля пахла землёй.

И ещё воспоминание... Саша в тесноватом пиджаке, в чистой рубашке, отглаженном пионерском галстуке сидит в пролётке на сене, прислонившись к тёплому боку отца. Отец едет в командировку, по пути везёт Сашу в пионерлагерь, в село Каёмково, захлестнутое петлей реки Шоры.

От реки через кусты на мокрую косовицу, как перебродившее тесто через край квашни, набухая, сочился туман. Под косыми лучами только что поднявшегося солнца, в молочной глубине тумана стояла размытая радуга. Чайка вырвалась из тумана, пошла свечой вверх, прежде чем скрыться из глаз, долго мерцала белой точкой на небе.

Даже отец, в последнее время приходивший домой всегда за полночь, хмурый, с ввалившимися глазами, повеселел, оглянулся, выдохнул одно слово:

— Красота.

Въехали в деревню. Голосили петухи, по-коростельи скрипел несмазанный ворот колодца. Под окнами одной избы на усадьбе стояли суслоны совсем зелёного ячменя. Саша показал на них отцу:

— Гляди! Вот чудачки — зелёным жнут.

Отец оборвал его сердитым взглядом и негромко произнёс:

— Над бедой не смеются, Сашка.

Под смачное пришлёпывание лошадиных копыт о жирную утреннюю пыль отец суровым голосом стал рассказывать о том, что война подкосила колхозы, что в прошлое лето засох на корню хлеб, остатки погубили осенние дожди, нынче урожай и неплох, да трудно до него дотянуть.

Хорошее долго живёт, плохое быстрее забывается. В Коршуновском районе с неохотой вспоминают о тяжёлом сорок шестом годе, свалившемся сразу после войны.

Отец рассказывал, а вокруг миновавшей деревню пролётки набирало силу радостное утро. Упрямый ветерок бережно очищал берег реки от тумана, загоняя его в сумрачную чашу елей. Луг, расписанный извилинами тропинок, местами был морозно-матовый от росы, местами сияюще-зелёный. В тот раз отец впервые сказал Саше слова:

— Красива наша земля. А на такой вот красивой земле надо сделать красивую жизнь. Споткнусь, не удастся мне — ты её сделаешь. Вырастешь, смотри, Сашка, не гонись за длинным рублём.

Жил рядом близкий человек, глядел на мир озабоченными глазами, в минуты откровенности говорил о самом большом своём желании — о красивой жизни на красивой земле, вечерами устало и неохотно ужинал, любил качать на колене самую младшую, Ленку, напевая чуточку сипловатым баском одну и ту же песенку:

Среди леса, среди гор  
Едет дядюшка Егор —  
Лапки кленовые,  
Онучки новые...

И заботы его близки.  
И привычки его знакомы.  
И мечты его стали уже сашиными мечтами.  
Близкий, самый близкий из всех на свете.

И вот прохладный запах влажного песка, свежая, не затянута дерновиной могила...

По накалённому солнцем булыжнику Саша вёл домой мать. Она, выкричавшая ещё на кладбище своё горе, не плакала, время от времени болезненно вздрагивала на его плече. Саша, придерживая мать, шагал непослушными ногами и озирался. Исчезла боль, исчезло и горе, осталось недоумение, тяжёлое и тупое. Нет его! Ни в командировке, ни в отъезде, совсем нет. Не придёт, не вернётся, ждать некого... Непонятно, нелепо!

Озираясь, в эту минуту он с какой-то особенной, резкой отчётливостью замечал всё, что творилось кругом. Каждая мелочь вызывала болезненное удивление.

С визгом, захлёбываясь от восторга, выскочил из подворотни щенок-коротышка с победоносно закрученным хвостом и накинулся на поросёнка. Тот с досадливым равнодушием повернулся к щенку задом.

Знакомый Саше киномеханик Славка Калачёв ремонтировал плетень у своего дома, насвистывая тихонько и беспечно «Любушку».

За спиной каким-то свежим, беспечным смехом засмеялась Катя Зеленцова. С похорон идёт...

Щенок радуется, визжит. Славка высвистывает: «Люба, Любушка...» Катя смеётся... Всё, как было, всё по-старому. А отца нет. Да как же это? Неужели надо смириться? Неужели надо забыть? Нет! Невозможно! Как жить дальше?

А дома Сашу удивила мать.

Он бережно усадил её на кровать. С опухшим лицом, бессильная, размякшая, она с минуту смотрела бессмысленными глазами в грудь сыну, потом подняла их, взглянула просяще и слабым голосом произнесла тот же вопрос, который мучил и Сашу:

— Сашенька, как нам жить дальше? — Помолчала, всхлипнула и закончила: — Велика ли пенсия. Машеньке вот пальто купить надо.

Как «Любушка» Славки, как счастливый смех Кати, слова матери резанули по сердцу: «Пенсия, пальто... Отца же нет! До пальто ли теперь?» Материно «как жить дальше» не походило на сашино.

Целый день удивляла и угнетала окружавшая его жизнь, будничные разговоры: «Хлеб не куплен... Обед не сварен...» В это время ему и вспомнились слова: «Когда горит дом, часы в нём всё равно продолжают идти...» Страшны и значительны они показались. В душе у него пожар, уничтожение, мир перевернулся, — казалось, живое не имеет права жить.

А живое жило, жизнь шла своим порядком, обычная жизнь, ни чуточки не изменившаяся. Дом горел — часы шли.

Но так было всего один день.

Утром он встал рано. Вышел на крыльцо. Мокрые доски холодили босые ноги. Двор, знакомый до каждой щепки, до последнего сучка в тёмной щербатой ограде, в это тихое утро неожиданно показался обновлённым. Половина его была покрыта тенью соседнего дома. Молодое солнышко ласково умыло своими нежаркими лучами вторую половину двора. И эти лучи, бившие в лицо, были приятны. Приятно было слышать и неистовую суетню воробьёв в мокрой листве лип. Саша стоял, жмурился, думал об отце...

Перед завтраком он деловито обсуждал с матерью, как жить дальше. Он пока не станет поступать в институт, пойдёт работать, по не в контору, не в учреждение — в колхоз... Только в колхоз. Незачем и считать, какой оклад у помощника бухгалтера в маслопроме. Отец ведь говорил: «Не гонись за длинным рублём».

Мать во время обедов ещё нет-нет да и заливалась слезами — не могла привыкнуть к пустовавшему стулу отца. Саша привык быстрее её.

Но каждое слово, когда-то сказанное отцом, стало для него святым законом.

Сейчас вот Игнат Егорович расспрашивал: зачем в колхоз, почему не в институт? А как ему объяснишь? Разве поймёт?

Свернули с шоссе. Задевая свесившейся из пролётки ногой за придорожные кусты, Саша сидел притихший около Игната, боялся, что тот снова начнёт разговор. Но председатель молчал, погонял лошадь и с опаской посматривал на небо.

А на небо из-за леса выползала, лениво разворачивалась туча. Вечернее солнце освещало её снизу, туча местами казалась медно-красной, от этого более грозной. Далёкий чёрный лес с одного конца начал исчезать, словно таял, растворялся в мутно-белёсом воздухе.

— Эх! Не успели до дождя,— досадливо крикнул Игнат.

— Может, успеет...

— Нет уж...— Игнат опустил вожжи.

Откуда-то из-за полуприкрытого дождём леса выкатился глухой гром. Лошадь, сторожко поводя ушами, пошла шагом. Беспokoйно и весело заговорила трава. Листья на кустах сначала лишь встряхивались по одиночке, но вот ветер налетел на кусты, обнял их, рванул, перемешал.

Спина лошади потемнела. Минута-две — и уж не весёлый ропот, а сплошной, ровный, деловито сосредоточенный шум, всё разрастаясь и разрастаясь, стоял над лугом. Дождь переходил в ливень.

Игнат с озабоченным видом стал ощупывать на груди свою гимнастёрку. Вдруг он стащил с головы кепку, прижал к сердцу и так и остался сидеть, придерживая одной рукой вожжи, другой — кепку на груди, досадливо поглядывая па тёмное низкое небо. Ливень хлестал по его блестящему черепу.

— Что с вами? — беспокойно спросил Саша.— Сердцу плохо?

— Нет, сердце у меня бычьё... В гимнастёрке выехал, а в кармане — партбилет. Боюсь, размокнет. Уж пусть лучше макушку прополощет.

Рука Саши невольно потянулась к карману пиджака — там тоже лежал комсомольский билет. И почему-то в эту минуту он почувствовал к этому человеку близость и тёплую благодарность: чем-то Игнат напомнил отца.

Дождь лил. Лошадь, пошевеливая глянцевитым крупом, бодро шла. Игнат и Саша сидели в мокрой, прилипшей к телу одежде, прижимая к груди один измятую кепку, другой — ладонь.

Жена Игната, под стать мужу, полная, высокая, с широким румяным лицом, смутила Сашу.

— Какой гостюшко у нас молодой! — весело всплеснула она руками. — Игнат-то всё приводил себе в ровню — и лысых и усатых, как есть подержанных. Да ты женихом, гляди, будешь. Вон сколько у нас невест. Выбирай любую, пока не поздно.

Саша, краснея, неловко усаживался за стол, косился на дочерей Игната. До невест им далеконок — старшей лет тринадцать, помогает матери, мелькая длинными загорелыми ногами, бегает, стрельнула глазами, скрылась в погребе; средняя, верно, первый год ходила в школу, стесняется, прячется в углу, а за спиной, должно быть, кукла; младшей и вовсе года четыре, исподлобья, серьёзно изучает «жениха». За столом раньше гостя уселся — подбородок на столешнице — сын, толстый, румяный, лобастый, ни дать ни взять — второй Игнат Егорович, только раз в шесть помельче.

— Угощайся, — пригласил Игнат, шумно влезая за стол, — и прислушивайся. О деле поговорим.

Придвинув Саше миску с картошкой, солёные огурцы, он начал внушительно:

— Ты для меня такой, какой есть сейчас, — не велика находка. Пара рук, да и руки у тебя ещё жиденькие, неумелые. Не так руки мне твои нужны, как голова. Зря, что ли, тебя десять лет в школе учили? Ешь... Есть да слушать — и в одно время можно... В колхоз я тебя возьму с радостью, но поставлю условие. В этом году ты должен поступить в институт. Мы теперь с тобой одного поля ягоды. Ты кончил десятилетку, и я тоже. Вот давай вместе подавать на заочное, будем сообща к науке пробиваться? Идёт?..

Саша, распрямившись над тарелкой, смотрел на Игната остановившимися глазами. Ну, конечно! Он этого и хотел, только думал иначе — институт не сразу, поработает с годик, освоится, а уж потом и на заочное... Тут вот как! Плохо ли — с ходу, не задерживаясь... В ответ он лишь молча кивнул головой.

Но Игнат Егорович, видимо, понял всё, мягко усмехнулся.

— Ешь, картошка остынет... Завтра поговорю с членами правления, определим тебя на место. Нам надо толкового агронома-луговода. Привыкли про траву думать, что это добро даровое, господь сам её растит. Без труда да рыбку из пруда...

— Сразу и на такое место?

— Не сразу. Оплачивать пока будем не как специалисту — поменьше. Много требовать не станем. Первое время приглядывайся, книжки по этой науке почитывай, в институт готовься. А бригадир пойдёт — сходишь, поработаешь... Да не смущайся, не из милости тебя устраиваю, свою выгоду провожу. Будешь работать, будешь учиться — через четыре года или там через пять полный специалист, и книжник, и практик — то, что нужно, — под нашим доглядом вырастет. Может, в чём и прогадаем на первых порах, зато в будущем наверстается. Согласен?

— Да.

— А теперь ешь... Как там, мать, самовар не готов?

Спать Сашу устроили за занавеской на маленькой, не по росту, тесной кровати. Саша не мог заснуть. Лежал, закинув руки за голову, прислушивался к тому, как затихала жизнь в новом, незнакомом для него доме.

Где-то в дальнем углу старшая дочь Игната Егоровича пела тоненьким голосом, укачивая братишку:

...Прилетели гулюшки,  
Стали гули ворковать...

Попела и затихла.

Скрипя половицами, ходила по комнате мать, осторожно гремела мисками и ложками, спросила вполголоса мужа:

— Прихватило дождём сено-то?

— Немного.

— Долго-то не засиживайся. И так каждую ночь не высыпаешься.

Зевнула, ушла, и где-то в той стороне, откуда четверть часа назад доносилась песня дочери, застонала кровать.

Наступила тишина, только через одинаковые промежутки времени слышался шелест переворачиваемых страниц — Игнат Егорович читал.

Когда-то в детстве Саша мечтал стать военным, носить ремень через плечо, пистолет на боку, ордена на груди. Чуть позднее, когда начитался книг о приключениях, решил стать капитаном дальнего плавания: стоять по утрам на мостике, глядеть на пустынное море, ждать незнакомого берега — удивительные города, чужой народ, незнакомая речь...

Решал дома задачки по математике, сидел на уроках, бегал сломя голову по школьным коридорам, играл в лапту — жил, как и все ребята, как и все, от жизни ждал решения только одного вопроса: «Кем буду?»

Эти два коротеньких слова имели волшебную силу. Ведь все его восемнадцать лет прошли только ради них.

Кем буду?.. Неужели сегодня, сейчас, тут вот вечером, так просто решился этот вопрос? Не военный, увешанный орденами, не капитан, обоженный тропическим солнцем, а простой агроном.

«Пусть... Отец был бы доволен».

Саша не успел заснуть — в окно раздался негромкий стук. Заскрипели половицы под тяжёлыми шагами, Игнат Егорович вышел за дверь. В сенях послышались приглушённые голоса.

— Тихо, тихо, не буди... Что-нибудь подкинь на лавку. Переночую — утром в село...

Голос позднего гостя, вошедшего в избу, был знаком Саше.

— Ты откуда, Павел? — спросил Игнат.

Саша догадался, что это Мансуров, из райкома, он иногда заходил к ним при отце.

— Откуда?.. Да всё оттуда же. По поручению бюро пришлось прокатиться в Сташинский сельсовет. Проверять готовность к сеноуборке. Под дождь попал, промок до нитки и высохнуть уже успел... — Гость стукнул снятыми сапогами, не переставая недовольно ворчать: — Старика бухгалтера Фомичёва из госбанка в толкачи записали. Комелевские порядочки никак не выдохнутся...

Саша насторожился. Тон, которым были произнесены последние слова, не обещал ничего хорошего. Саша ждал, что Игнат Егорович возразит, обидится за отца — он честный человек, должен возразить, — но он не возразил.

— А что ж ты хотел от Баева? — произнёс Игнат Егорович тихо. — Одна выучка. Комелев-то хоть с крепким характером был мужик. Сравнить с ним — такие Баевы жидко замешены.

— По-старому рассылаем толкачей. Только для стеснительности вывески меняем. До Комелева звали — уполномоченные, при Комелеве скромненько — представители, нынче ещё красивее — политинформаторы. Плохие штаны как ни выворачивай — прорехи останутся. Над каждым председателем, почитай, по толкачу сидит. Погоняют... Ты куда думаешь меня положить?

— Возьми лампу, посвети мне. В сенях постель достану.

Свет за занавеской исчез. Саша лежал, боясь пошевелиться. Где-то под печкой боязливо заскреблась мышь. У порога в бадью из рукомойника капала вода, каждая капля — лёгкое всхлипывание.

И раньше от отца приходилось слышать, что в районе трудная жизнь, полно непорядков, но Саша и подумать не мог, что в этих непорядках повинен он, отец!

Пригоршня земли, взятая из-под плуга; непривычно мягкое, чуточку торжественное лицо. Разве это можно забыть?

Суровый взгляд, дрогнувший голос: «Над бедой не смеются...»

А его «на красивой земле красивая жизнь»!

Вот он каков, отец! Как они смеют? Разве они лучше знают его? Со стороны глядели. Раз-два — рассудили, просто и быстро.

Саша сжимал кулаки и всем телом каменел от ненависти.

Робко скреблась мышь, размеренно всхлипывали падающие капли. Спал дом, кругом — полный покой... Да не приснилось ли всё это? Один голос слегка раздражённый, голос уставшего человека, другой — спокойный, деловитый. Не могло этого быть, не могли так говорить!

Толчок в дверь снаружи показался оглушительным. Разом смолкла мышь, в шуме входивших людей затерялся звук падающих капель.

По занавеске проползли тени. Зашуршала раскинутая на лавке постель.

Саша, задохнувшись от волнения, приготовился слушать.

На этот раз, продолжая разговор, проходивший в сенях, заговорил неполноголоса Игнат Егорович, и, кажется, он защищал отца.

— Человеческие качества?.. Да в них ли дело? Комелев, слава тебе господи, имел эти качества, не пожалуешься. Честный, прямой... За то, чтоб хорошее людям сделать, на всё готов, хоть с любого обрыва в воду... Плохо, если руководитель не имеет этих человеческих качеств, но этого, брат, мало.

— Общие слова.

— Вот послушай... Спускают из министерства, из самой Москвы, план. Ну, скажем, посеять столько-то озимой пшеницы. В области прикидывают по районам. В районе — по колхозам. Попадёт этот план наконец к нам, то есть к тем людям, которые эту пшеницу сеять должны. А мы видим — климат не тот, земля неподходящая, такая пшеница у нас никак не может расти. Что я должен сделать? Быстро сообщить: так и так, разрешите поправку в план. Хороший руководитель эту поправку быстро поймёт, подхватит, дальше передаст, чтоб путаницы не было. Плохой — упрётся, начальству-де не возражают. Хороший руководитель на две стороны слышит. Плохой туг на одно ухо: что сверху прикажут — на лету схватит, что снизу посоветуют — не доходит. Вот оно, качество-то... Тем и плох Комелев, что, как ручей по весне, всё в одну сторону нёс — сверху вниз. Людей любил, добра им желал и не доверял. Часто случается — кого любят, тому не доверяют.

Зашуршала постель — должно быть, гость укладывался спать.

— А скажи,— подал голос Мансуров.— Вот если бы тебя спросили, что мешает подняться району? Вопрос огромный, даже слишком общий... Ты бы сумел, хоть что-нибудь посоветовать? А?..

С минуту молчали. На другой половине избы заворочался, всплакнул во сне ребёнок.

— Да,— произнёс Игнат Егорович,— что-нибудь сказать смог бы. И это что-нибудь, как умею, пробую делать у себя в колхозе.

— Интересно.— Шуршание постели затихло, гость прислушивался.

— Я бы перетряс планы, которые к нам приходят из области.

— А точнее...

— Наши места созданы для того, чтоб молоко рекой от нас текло. Заливные луга какие! А суходолы!.. Да наши суходолы стоят южных заливных лугов. На траве — молочный скот, на картошке — свиноводство да ещё лен. Вот наш талант! А район наш считают зерновым, долбят планы: сейте хлеб, сейте хлеб! Он не растёт, гибнет осенью от дождей... Уж

и так скота-то держим — надо бы меньше, да некуда, но и его прокормить не в силах. А отава — какое богатство! — гниёт, попадает под снег. Да при желании мы бы вдвое, втрое скота кормить могли! Талантами земли не пользуемся. Верим не своему глазу, не совету колхозника, а бумажке, пришедшей сверху. Планы перестраивать — вот бы что я подсказал нашим руководителям. Да и подсказывал Комелеву. Он слушал, иногда молчал, иногда возражал: «Так-то, мол, так, да план корёжить нельзя».

— Драться за это надо, — задумчиво проговорил Павел Мансуров.

— Да, надо... Только вот бить не знаешь кого. Иногда на собрании размахнёшься — хлоп! Глянь — в воздух попал. Нет противника. Никто не виноват.

— Надо драться...

На этом разговор кончился.

Поскрипывая половицами, Игнат ушёл на свою половину. Второй раз застонала кровать — лёг к жене.

Саша, расслабленный, разбитый, глядел в тёмный потолок.

«Как ручей по весне, всё в одну сторону нёс... Людям не доверял... Подсказывали ему... Неужели всё это правда?.. Ложь! Не может быть!.. А какой смысл им лгать? А вдруг обидел их чем отец? Обиды-то не слышалось в их голосе... Драться надо... С кем? Если б жил отец, то с отцом! Да что же это такое?!»

Боясь пошевелиться, холодея от одной мысли, что его могут услышать и догадаться, что он не спал, Саша заплакал. К ушам, щекоча их, потекли слёзы. Чтоб не всхлипнуть, не застонать, он до хруста сжимал зубы. Кровь размеренно била в виски: «Отец! Отец! Отец!..»

Даже когда хоронили отца, не было так тяжело Саше. Отец умер, исчез, но осталось после него самое хорошее — память о нём. Теперь нужно хоронить последнее — эту хорошую память. Ничего не осталось! Жил и нету, нечем вспомнить. Невозможно это! Нельзя согласиться! Страшно! Быть ничего не может страшнее!

Тупо стучала кровь. Саша глотал слёзы.

А за занавеской шуршал на тюфяке, набитом сеном, Павел Мансуров. Несколько раз чиркал спичкой, закуривал, освещал занавеску. Ему тоже не спалось, он тоже был чем-то обеспокоен.

Только из другой половины доносилось негромкое размеренное похрапывание хозяина. Он сразу уснул, он спокоен.

Это похрапывание вызывало у Саши неприязнь, почти ненависть. «Спит... Что ему... Не буду у него работать... Уйду...»

## 7

Случайный ночной разговор с Игнатом растревожил Павла Мансурова.

Этот разговор напомнил ему другой.

Как-то недавно он с главным агрономом МТС Трофимом Чистотеловым ходил по бригадам одного колхоза, разбросанным по лесам и перелесочкам.

День был серый — низкое небо, влажный воздух. Но по кустам и деревьям суетливо прыгали птицы. Птицы не затаились — значит дождя не будет.

Чистотелов, могучий старик с дублёным морщинистым лицом, коротко остриженной седой головой, был довольно тяжёлым спутником. Высокий, прямой, шагает, как машина. Павел не из слабеньких, в армии привык к переходам, а приходилось послевать по-мальчишечьи, вприпрыжку. Старик отмеривает шажище за шажищем, сурово посапывает и молчит, только изредка оглянется, двинет сверху вниз жёсткими бровями (считай — улыбнулся) и спросит, нажимая на «о»:

— Уморился, милушко?.. То-то, с непривычки-то. Что для агронома самое важное? Голова, думаешь?.. Нет, но-оги.

И снова надолго замолчит, снова поспевай за ним.

Пробежали километров пятнадцать, исколесили поля, обделали все дела, до вечера ещё далеко, а уж возвращались обратно.

Лесная дорожка с чуть приметным колёсным следом вынырнула из сосняка, закружилась среди кустов дикой малины. Вог упавшая ель — ржавые высохшие ветви опутала трава, вот широкий пенёк — в выгнившей сердцевине, как в чашке, тёмная вода, не высохшая после вчерашнего дождя. А там будет спуск, поле, от него километров пять и деревня — можно отдохнуть.

Они вышли к спуску и остановились... Павел удивлённо оглянулся на агронома.

— Та ли дорога? Не заблудились ли, Трофим Саввич?

Остановился и Чистотелов, гмыкнул неопределённо, уставился вперёд: озеро!

Они утром проходили здесь — никакого озера не было и даже ни речки, ни лужицы. Теперь же впереди тусклоголубоватая вода покойно лежала под облачным небом.

— Отмахали!.. Где же мы? — Павел с усталости почувствовал раздражение.

Но Чистотелов дёрнул бровями и уверенно зашагал к озеру.

Странное озеро... Павел шёл и пристально вглядывался. Берега у него плоские, ровные и прямые, невысокий кустик, торчащий в дальнем углу, не отражается в воде...

И только подойдя ближе, Павел не удержался и негромко ахнул. Какое там озеро! Нет его! Нет воды. Это лён... Обычное поле льна, оны и утром проходили мимо него.

Лён уже начинал отцветать. Его цветочки потеряли свою голубизну, были слегка блёклыми. Потому-то издали они и походили на воду, разлившуюся под низким облачным небом.

— Чёрт возьми! — удивился Павел. — Один я, пожалуй бы, оглобли назад повернул. Озеро и озеро — полное впечатление.

— Ленюк! — Чистотелов ласково вырвал несколько мягких стебельков. — Густо он у них здесь поднялся, да низковат...

И молчаливый старик вдруг разговорился.

— Откуда у нас хорошему льну быть? — забубнил он. — Удивляться приходится, как он ещё до сих пор не выродился. Вот пшеница, на что она у нас плохо приживается, а сеем и знаем, что за сорт, какие качества. Таблички даже по полям расставляем — тут, мол, такая-то и такая-то. А лён у нас без имени, без отчества. Одно знаем — долгунец. А долгунца-то около десяти сортов насчитывается. Спроси меня, что это за сорт. Не скажу. Так какой-то, безродный. И не долгунец... Прежде начнёшь вешать лён на огород, до земли головками достаёт. Коршуновские холсты славились, из Москвы к нам купцы наезжали. Нас за лён государство озолотить может. За лён нам и пшеницу дадут и деньги. А мы ко льну задом. От счастья своего отворачиваемся...

Павел, поспевая за стариком, удивлялся горечи и обиде, которые слышались в словах агронома.

— Что ж молчишь? Ставь вопрос.

— Молчу?.. Да я кричал, кричал, охрип от крика. Видать, стенку горохом не прошибёшь. Вот у меня в столе лежат рядышком два документа: один — благодарность райисполкома колхозу имени Первого мая за перевыполнение плана по сдаче льнотресты, другой — решение того же райисполкома, где этот колхоз вместе с председателем Костей Зайцевым разносится в пух и прах за нарушение плана сева — не досеял ячменя



и пшеницы, пересейл лишка льна. Одной рукой тянут ко льну, другой — отталкивают. Вот как у нас, а ты говоришь — не кричал.

Вспоминая этот разговор, Павел долго ворочался на жёстком матрасе в доме Игната.

Дело не во льне — в большем.

В моторе машины можно иногда услышать глуховатый стук. Неопытному человеку этот стук ничего не говорит. У механика он вызовет тревогу: стучат подшипники коленчатого вала! Если во-время не остановить мотор, не подтянуть подшипники, мотор выйдет из строя, ставь тогда машину на капитальный ремонт. Глуховатый стук — сигнал надвигающейся беды.

Хирующий лён в исконно льноводческих местах — такой же сигнал беды: жизнь Коршуновского района идёт неправильно.

К этому сигналу не прислушиваются, его не замечают, молчат. Почему?

Выигрышное дело подсказал Чистотелов. Как это он, Павел Мансуров, не обратил на него раньше внимания? Стоит запомнить.

Встал Павел вместе с Игнатом. Ушёл, отказавшись от завтрака. На пути к дому сделал крюк, заглянул в МТС, встретился с Чистотеловым, попросил у него те два документа, о которых рассказывал ему агроном. Документы, оба подписанные одним лицом — председателем райисполкома Сутолоковым, действительно противоречили, били один другой.

Шекастый парень Петя Силин, секретарь-машинистка МТС, снял для Павла копии.

Дома Павел взял первую подвернувшуюся под руку пустую папку. Это была обычная папка — такие сотнями выпускала местная артель инвалидов, — на лицевой корке казённая надпись: «Дело №...», уже старая, потёртая, завязки чернильного цвета вылиняли и почти не пачкали рук.

В эту-то папку и положил Павел копии.

## 8

Саша забылся утром, спал всего несколько часов, и они унесли его домой. Снился живой и здоровый отец, качающий на коленке Лену, но распевающий почему-то не о привычном дядюшке Егоре в онучках новых, лапотках кленовых, а громко, как репродуктор, что висит в углу комнаты: «Теперь я турок, не казак...»

Проснулся — действительно поёт радио... С удивлением огляделся — куда попал? Жёлтый дощатый потолок, ситцевая, прозрачная от старости занавесочка, тесная, не по росту, кровать: не дома! И в ту же секунду вспомнил: ночь, два голоса, негромкие, спокойные... Саша вскочил, затравленно озираясь, стал одеваться: «Уйду! Уйду! Сейчас же! Ни минуты лишней...»

Изба пуста — ни гостя, ни хозяина, только за перегородкой одна из дочерей Игната Егоровича выговаривает братишке:

— Ну, чего кошку слюнями мажешь? Она сама умоется.

У окна, на маленьком столике, — дешёвый приёмник. Он и поёт... Хозяева вышли на минутку, должно быть, скоро вернуться.

Боясь с кем-либо встретиться, Саша выскочил на крыльцо.

Солнце стояло уже высоко, припекало не по-утреннему, а разморённые куры лежали в пыли на дороге. У соседей в хлеву жалобно мычала корова.

А в деревне — ни человека. Дорога, уходящая в поле, пуста. Сейчас по этой дороге до шоссе — пешком, там он остановит машину, попросит шофёра довезти и... не вернётся. Всё! Кончено!

Но одна мысль заставила Сашу остановиться: «Так и уйти, не сказаться?.. Сбежать?.. Нет, надо поговорить с Игнатом Егоровичем. Скажу

открыто: слышал, знаю, работать с вами не могу, помощи вашей не надо... Честно и прямо. Пусть тогда упрекнёт, что сбежал, как трус».

Саша уселся на ступеньки крыльца — Игнат Егорович мимо своего дома не пройдёт, рано или поздно появится.

Из соседнего двора вышла рыжая корова, медлительная, важная, — не поверишь, что минуту назад она мычала жалобно и просяще. За ней, держа на весу хворостину, появилась старуха. Она недовольно ворчала: — Самим, небось, заботушки нету... Назаводили животин... Куды, клешнята! Вот ужотко опояшу!

Заметив сидящего на крыльце Сашу, подставила козырьком ладонь к глазам, бесцеремонно оглядела, равнодушно отвернулась и забубнила своё:

— Себе-то мясы нарастила, а чуть что: свекровушка, свекровушка... А свекровушка ворочай. Нет, чтоб самой раненько подняться да позаботиться, кобыла необъезженная...

Загребая пыль жилистыми, чёрными от застаревшего загара ногами, старуха медленно удалялась.

Казалось бы, ничего не случилось: прошла мимо, погоняя корову, незнакомая старуха, взглянула, отвернулась, пробрюзжала свою старушечью беду, а Саше от всего этого вдруг сделалось тяжело до удушья.

Вот он сидит на чужом крыльце, у чужого дома, мимо проходят чужие люди, жалуются на что-то своё... Какое дело этой старухе до того, живёт на свете он, Саша Комелев, или не живёт, случилось у него горе или нет... Вот крыши деревни с мшистой прозеленью по тёмному тёсу, под каждой — люди, у всех свои радости, свои обиды... За этой деревней — другие деревни, сёла, где-то далеко стоят города. Велик свет, всюду живут люди, и на всём свете нет никого, кто бы мог помочь Саше. Мать? Сёстры? Да они сами ждут от него помощи. Велик свет, а ты один! Как хочешь, сам устраивайся.

— Долго спишь. Не по-нашему!

Саша вздрогнул.

Откинув калитку ногой, шагнул во двор Игнат в белой, просторной, ещё не обмятой после глаженья рубахе, широкий, краснолицый, радостный. С жёстким хрустом вдавливая сапогами песок дорожки, подошёл, протянул руку:

— Пойдём чай пить да на луга... Все углы мы с тобой сегодня облазаем.

И Саша, отвернувшись, против желания пожал твёрдую ладонь.

— Хочу поговорить я...

— За чаем всё обсудим.

— Нет, здесь... Не буду я у вас работать. Уйду.

Игнат уставился с добродушным интересом.

— Откуда такая резвость — вчера напросился, а сегодня — уйду? Круто прыгаешь, парень.

— Я всё слышал... ночью... как вы говорили... про отца...

Веки Игната с короткими, редкими остинками ресниц разом смахнули добродушие; без того крошечные зрачки сузились ещё сильнее — острые, твёрдые, серьёзные, с иголочный прокол. У Саши навернулись на глаза слёзы — так не хотелось отводить взгляд и так трудно выстоять против этих зрачков.

— Значит, не спал... — произнёс задумчиво Игнат. — Что ж, знал бы, пригласил бы и тебя. Разговор-то мужской был. — Он положил широкую тёплую ладонь на узкое плечо Саши. — Обижаться тут нечего...

Но Саша сердито отвёл плечо.

— Уйдёшь — силой не держу. Иди! Только запомни: первый шаг в жизни делаешь, самый первый — и уж от правды бегаешь. Поостерегись!

Не получится настоящего человека. Иди, коли так. Пожалее да руками разведу, что мне остаётся делать?

Его не держали, ему сказали — иди. И надо бы повернуться, кинуть через плечо: «Прощайте...» Но Саша не двигался, склонив голову, уставившись в сапоги Игната.

«От правды бегаешь...» Невозможно молча уйти от таких слов. Надо возразить! А как?..

Остаться надо. Не навсегда — на время. Приглядеться, доказать, тогда уйти...

Высокий, грузный Игнат шагал размашисто, легко, вольно. День председателя колхоза бо́льшей частью проходит на ногах. Сейчас день только начинался, вся усталость ещё впереди, идти пока что наслаждение. Саша «попал в ногу», и ему невольно передалась упругость председательского шага.

Перед полуднем хотя и не на шутку припекает солнце, но воздух хранит остатки утренней свежести — жара не утомительна. Ветерок слаб, но чувствуется. В тихое, как глубокие вздохи спящего, шелестящее качание ещё не налившихся колосьев влетает суетливое, вороватое шуршание — то в гуще хлебов снуют перепела. Низко над придорожной примятой травкой летают тяжёлые шмели. Гудят недовольно, натужно, обрывают полёт на самой сердитой ноте, впиваются в цветок по-хозяйски грубо, свирепо. Похоже — добывать себе пропитание они считают проклятием и за это вымещают свою злобу на цветах.

И гудение шмелей, и шелест задевающих друг друга колосьев, и вороватая жизнь невидимок-перепелов при быстрой ходьбе не замечаются по отдельности. Но всё вместе создаёт ощущение налаженности жизни, какой-то добротности окружающего мира.

Если ты просто спокоен, у тебя в такие минуты рождается неясная, тихая радость. Ей нет другого объяснения, как: хорошо жить на свете! — и только.

Если же душу разъедает беспокойство, то безотчётное любопытство к окружающему заглушит его, вызовет покой.

Саша шагал, и с каждым шагом всё легче становилось на душе, всё меньше мучила обида за отца. С каждым шагом, казалось, он уходил дальше и дальше от подслушанного им страшного ночного разговора.

Игнат обернулся, распаренный, радостный, оживлённо кивнул на высокую гору, снизу обросшую тёмными елями, выше — осинником, задичавшей черёмухой, ещё выше — курчавым кустарником. А над всем этим — плоское, лысое темя.

— Хочешь — взберёмся? Оглядишь для начала колхоз сверху. Поймёшь, что к чему. А там спустимся прямо на Ржавинские луга.

Гора называлась Городище. О ней ходят по деревням поверья. Когда-то (точно никто не знает когда, все уверяют лишь — очень давно) на лесные земли села Коршунова налетели враги. Были ли то татары или разгулялась воинственная чужь — опять никому не известно. Мужики из окрестных деревень выбрали самое высокое место, обнесли его бревенчатым частоколом и встретили пришельцев камнями, смолой, горящими брёвнами. Рассказывают: доходило дело и до рогатин. Враги ушли, а на том месте, где они были отбиты, построили сторожевой городок.

Теперь здесь пни, кустарник да рыжая, выгоревшая на солнце трава. От самого городка не осталось никаких следов. Гора приняла его название и его славу.

Направо с неё видно пыряющее в зелень перелесков шоссе — самая бойкая дорога в районе. Она соединяет Коршуново со станцией, она ведёт к лесокомбинату, она уходит вглубь соседнего Шумаковского района. И пыльные наезженные просёлки и луговые, поросшие одуванчиками и

жёлтыми ноготками тропинки — все они, как речки и ручейки к большой реке, изгибаясь и виляя, тянутся к ней, к дороге, уставленной столбами электролиний. Там ночью и днём не затихает грохот моторов. Идут трёхтонные «Зисы», тащат на себе брёвна лесовозы, сверкая стеклом и лаком, визгливо покрикивая на нерасторопные грузовики, мчатся «Победы».

Шоссе — одна из границ колхоза «Труженик».

Налево, за начинающими белеть полями ржи, за сермяжно-коричневыми парами, за крышами деревень Старое и Новое Раменье, виден лес. Среди него в тёмной хвое с трудом можно различить плешинку. Там тоже поля и тоже стоит деревня. Она так и называется — Большой Лес. А ещё дальше за этой деревней — лесные покосы. «Сахалин» — прозваны они за свою удалённость. Среди моховых кочек, близ мочажин, поросших осокой, стоят там окопанные столбики...

И это граница колхоза...

Велики земли «Труженика». С одной стороны столбы электролиний, круглые сутки грохот машин, с другой... Были случаи, когда выпущенную на отаву корову находили в чаще, заброшенную дерновиной и мхом. Её задирали медведь и оставял, чтоб наведаться на недельке, когда мясо будет уже «с душком».

Игнат в своей белой, трепещущей на ветру рубахе стоял, прочно вдавив в сухую траву широко расставленные толстые ноги, выставив грудь и живот, курил, а ветер срывал с его губ слова и затяжки дыма. Он не спеша объяснял Саше своё раскинувшееся хозяйство.

Выщипанные перелесочки, по полям песенные берёзки-одиночки, сбившиеся в тесные кучи чёрные ели и просторы, просторы синие, туманные, неясные... Для них даже этот прозрачный воздух слишком густ, глаз с трудом пробивает его необъятную толщу.

Высота всегда опьяняет, бесконечность всегда тревожит, и не понять себя — хочется или покорно, тихо заплакать, или взбунтоваться, прокричать так, чтоб встряхнуть дремотный покой...

Игнат Егорович, должно быть, привык к этому. Он вдавил каблуком в землю окурков и закончил буднично:

— Вот хозяйство. Здесь и будешь работать.

## 9

Когда-то село Коршуново славилось как «купеческая крепость». Нынче только старики помнят пять всегильдейших фамилий — Шубиных, Ряповых, Бахваловых, Безносых и Костюковых. Эти пять семей торговали лесом, холстами, кожей, дёгтем, и каждый хозяин, разбухав мощной, следовал раз навсегда установленному порядку. Сперва выстраивал тяжёлые, как одноэтажные остроги, лабазы, потом — двухэтажный кирпичный особняк, украшенный по фасаду подслеповатыми оконцами, каменными кренделями и завитушками во вкусе хозяина, и, наконец, приносил благодарность богу. Но и тут хозяин оставался самим собой. «Молиться? Где? В церкви, что Митька Ряпов построил? Аль мы, Бахваловы, рылом не вышли? Аль мы богом обижены? Свою заворотим почище митькиной!» Вот потому-то в небольшом селе Коршунове имелась одна приходская школа и пять церквей.

Давным-давно Коршуново потеряло свою прежнюю славу и как-то не приобрело новой. Такое же волостное село Шумаково за это время выросло, стало хоть и маленьким, но городом. Около него выстроен лесокombинат. А вовсе неприметная прежде деревня Пташинки (в сторону от Шумакова) стала узловой железнодорожной станцией. Коршуново же осталось всего-навсего центром сельскохозяйственного района, самого неприметного среди всех районов области.

По утрам в Коршуново с первым грузовиком, поднимающим пыль на шоссе, голосили петухи. Кривой на один глаз пастух дед Емельян, покри-

кивая на коров и хозяек, собирал стадо. Днём около районного Дома культуры козы объедали афиши, извещавшие коршуновское население о новой кинокартине. По вечерам на дощатой площадке в роше играл доброволец баянист, молодёжь танцевала или же парсчками искала тёмные закоулки. Жители же более почтенного возраста — бухгалтеры, делопроизводители, заведующие райторгами, райтопами, райфо и прочие, — засучив рукава нательных рубаш, трудились в поте лица — окучивали картошку.

Незнакомых в селе не было. Каждый из жителей знал всех, все знали его. Если у Марьи Филипповны, что живёт на южном конце села, коза «от неумённого характера» ломала себе ногу или же поросёнок разрывал грядки с морковью, то эти события сразу становились известными на северном конце Авдотье Поликарповне.

Вообще жили тихо, мирно, по-соседски, слушали последние известия, любили поговорить друг с другом о чём-нибудь далёком, например, о водородной бомбе или же об отставке Мосаддыка.

Павел Мансуров жизнь свою прожил беспокойно. Офицером поколешил по Европе — был в Будапеште, Праге, Вене. Случалось, как говорится, смотреть и смерти в глаза. Впрочем, этим в наше время никого не удивишь.

Коршуновский район был родиной его жены. Он приехал с ней сюда после демобилизации.

В райкоме никто лучше его не мог провести семинар о прибавочной стоимости. Даже покойный Комелев немного побаивался начитанного заведомо пропаганды.

Коршуновская жизнь была для Мансурова тяжела: тихо, сонно, даже чрезвычайные происшествия, вызывающие бесконечные разговоры и пересуды, как-то очень обыденны — в райпотребсоюзе раскрыли растрату, пять человек попало под суд, на перестройку Дома культуры отпущено около ста тысяч, будет пристроено крыло — новый кинозал с буфетом.

И работа Павла не радовала. Кажется, агитация и пропаганда — лекции, политическая учёба, выступление самодеятельности — дело живое, но вокруг этого был какой-то бумажный круговорот: тематические планы, инструкции по культурно-массовым мероприятиям, инструкции по семинарам — от одних названий мозг сохнет. А пособия? Что может быть скучнее областного «Блокнота агитатора», этой универсальной шпаргалки всех районных пропагандистов.

Сидя в своём кабинете перед дешёвым плексигласовым чернильным прибором, Павел часто думал: «Где-то люди строят каналы, электростанции на миллионы киловатт... Живут! А тут в прошлом месяце — отчёт о работе семинаров, в этом — отчёт о работе лекторской группы. Никуда не уйдёшь».

Павел был твёрдо убеждён, что только одно может изменить его жизнь — оставить Коршуново, уехать: в Заполярье, на целинные земли, куда-нибудь подальше.

И вот случилось неожиданное. Павел Мансуров продолжал жить в селе, работал на прежнем месте, но уже не испытывал тягостной скуки. Тишина и безмятежный покой села перестали его удручать.

За три года работы в Коршуновском районе он много видел разных оплошностей, подчас грубых ошибок. Почему-то казалось, что не он, а кто-то другой, всесильный, должен заметить эти беспорядки, исправить, наладить, перетряхнуть жизнь коршуновцев. Он ждал этого, иногда ворчал: «И чего только смотрят там?..» Словно там сидели не обычные люди, а прозорливцы, наделённые могущественными способностями видеть через сотни километров недостатки и росчерком пера исправлять их.

И вот в ту ночь Игнат сказал ему: я вижу больше, что делается вокруг меня, чем те, кто наверху, я хочу подсказать им, помочь, научить, хочу

сам исправить и пробую это делать, только силы маловато, только голос слаб, не могу крикнуть так, чтобы слышали.

И Павел Мансуров решился: «Я крикну, чтоб слышали! Я смогу! Хватит сил!»

Игнат Гмызин признался: бить — не знаю кого, размахнёшься — хлоп! — глянть, в воздух попал.

Павел найдёт виновных.

Он, как и прежде, ездил по колхозам, заглядывал в МТС, разговаривал, но теперь в каждом разговоре ловил всё, что казалось ему нужным. А потом рылся в отчётах, наводил справки, записывал...

Иногда он сам поражался своим открытиям.

Однажды он увидел обычную на коршуновских дорогах картину. В овражке, вдавив в болотистое дно жидкий настил мостика, печально мок под дождём комбайн. Земля вокруг него была взрыта, из-под колёс торчали невынутые слуги: видно, долго возились комбайнеры, но крепко села тяжёлая машина. И комбайнеры разошлись — пришлют тягач, вытянет.

После этого случая Павел стал узнавать в МТС, во что обходятся простои по вине дорог, текущий и капитальный ремонт машин, такие мелочи, как подброска тягачей, перерасход горючего... По самому грубому подсчёту, во всех трёх МТС только за три последних года убытки из-за бездорожья составили миллионы рублей. Не сотни тысяч — миллионы! А один километр жердévки, считай только работу (материал бесплатный, растёт всюду), обходится около двух тысяч. На эти миллионы можно отремонтировать все дороги района, расширить поля, дать простор комбайнам. Уже не три года мучатся МТС от бездорожья и, если не взяться за ум, будут мучиться ещё бог знает сколько. Тут уже сотни миллионов государственных рублей могут вылететь на ветер. Неувязка в планировании. Молчать о ней — вредительство!

Но Павел Мансуров не спешил кричать. В своё время он выложит на стол перед секретарём райкома все цифры, все факты, все документы. Пусть попробуют не ответить на них, пусть попробуют от молчаться, спрятать под сукно. Он, Павел Мансуров, — член партии и будет иметь дело с такими же партийцами. В случае нужды он напомнит им партийный устав: «Зажим критики является тяжким злом». На его стороне — закон, на его стороне — сила! Он не Игнат Гмызин, он станет бить не в воздух, а наверняка.

Потёртая папка с вылинявшими лиловыми завязками, лежавшая в столе Павла Мансурова, постепенно заполнялась. Впереди борьба! Она пугает только слабых! Сильный должен радоваться: там, где есть борьба, жизнь становится интересной.

## 10

Саша целую неделю не показывался дома. За два дня он научился управлять пароконной косилкой; голый по пояс, в кепке, натянутой на самый нос, разъезжал по лугам. Обгорел на солнце, руки покрылись чёрными ссадинами (косилка была старенькая, частенько приходилось возиться с ней), перестал краснеть, когда раменские девчата, устраиваясь обедать, кричали ему:

— Сашенька! Солнышко! Иди к нам в копёшки. Охотка поиграть со свеженьким!

Саша жил и столовался у Игната Егоровича. Галина Анисимовна, жена председателя, поила Сашу парным молоком, кормила запечёнными в пироги лещами. Спал он в сарае, рядом с копной свежего сена, прямо на полу раскинув твёрдый тюфячок. По утрам его будили куры. Всегда казалось, что лёг минуту назад, не выспался. Вскakiвал, накидывал на голые

плечи пиджак, бежал по обжигающей босые ноги росной траве за деревню, к речке.

Жёлтый обрыв берега весь источен ласточкиными гнёздами. Под ним узкая речонка вливается в широкий бочаг. Быстрая, светливая, шевелящая беспокойно хвостец и осоку, сдвигающая с места на место песчаные наносы, вода здесь, в бочаге, отдыхает, отсыпается, чтобы снова неутомимо бежать дальше. Это Лешачий омут. Днём, даже под бьющим в упор солнцем, вода тут чёрная, без просвета. Под самым берегом двухсажённые шесты не достают дна.

По утрам весь омут покрыт туманом. Туман настолько плотен, что сверху кажется — в широкую чашу Лешачьего омута до половины налито снятое синее молоко. С разбега бросаешься вниз. Сначала головой пробиваешь туман и только потом попадаешь в воду. Вынырнешь — и, словно в сказке, другой мир: не видно берегов, не видно неба, только льются сверху рассеянные солнечные лучи, таинственные, нездешние. А вода тёплая, за ночь не успевает остынуть. Зато когда вылезешь, пачка колени о глинистый берег, грудь сдавливает от холода, мокрое тело дымит.

За столом, у самовара, Сашу ждёт Игнат Егорович. Чай обжигает горло, а Игнат Егорович не торопясь рассуждает с Сашей, почему на залином клине Овчишиковского луга в этом году из рук вон плохая трава.

— Я так думаю: водичка вымывает питательные вещества. Навозом бы надо подкармливать...

После чая Саша бежит через деревню к конюшне. Там его вместе с конюхом Лукой, стариком с тёмной и тусклой, как прокалённый бок печного горшка, лысиной, ждут две лошади — вислогубая, только в упряжке сбрасывающая сонливость Люська и большой сластёна, ласковый за сахар, гнедой низкорослый меринок со странной кличкой Пятак.

Хорошо так жить. Работай, уставай, выспайся, знай — будет выдача на трудодни и тебя не обделят, отвезёшь кое-что матери.

Но эту жизнь оборвал Игнат Егорович.

— Пора, парень, в институт готовиться. Съезди домой, побудь там денёк-другой, захвати учебники — да обратно. Днём работать, вечерами вместе сидеть будем. С непривычки, знаю, трудненько, да что ж подделаешь. Ребячье житьё кончилось, взрослая пора начинается.

И Саша поехал домой...

Ленка бросилась с порога на шею: «Саша приехал!» Мать, прикрикнув: «Не висни! Не дадут человеку опомниться...», сморкаясь в платок, сдерживая вздохи, сразу же, загремела посудой. Старшая сестрёнка, Верка, побежала к соседям занимать дрожжи. Даже отца так не встречали из командировок: его приезды и отъезды были привычны. А тут новый хозяин, глава семьи, приезжает первый раз.

И Саша вёл себя достойно — потрепал Ленку по волосам, умываясь, с суровой лаской бросил матери: «Особо-то не хлопочи», спокойно выслушал от неё жалобы — подстинок переборку раскачал, соседи сложили поленницу, она развалилась, сломала изгородь, а исправить не думают... «Нет отца-то, обижай всяк, кому не лень...»

Саша достал топор, пилу, мслоток и вышел во двор. Укрепил переборку в хлевушке, поправил изгородь, перекачал наново соседскую поленницу, начал перекладывать свою... При этом сурово хмурился, делал вид, что не замечает, как на крыльцо их дома заворачивают знакомые женщины. Мать выходит к ним, слушает с размякшим лицом, кивает радостно. Уж известно, что нашептывают: «Удачливая... Не обижена сынком... Хозяйственный...» Стоит ли обращать на них внимание?

Вечером к Саше пришла гостья.

— Здравствуй, Саша! Давно тебя я не видела.

Прямо через низенький заборчик, едва коснувшись его руками, перемахнула Катя Зеленцова и, упруго ступая высокими каблуками туфель по замусоренному щепками двору, приблизилась, протянула руку.

— Поговорить нам нужно.

Саша не торопясь вытер о штаны свои испачканные сосновой смолой руки, поздоровался.

Они присели на скамеечку у крыльца.

За много лет до революции в село Коршуново был сослан на поселение один человек — то ли грек, то ли армянин. Одни говорили: возил сукно из Турции, на том и попался, другие уверяли — не сукно, а запретные книжки... Но, так или иначе, новый коршуновский житель ни политикой, ни чем-либо другим запретным больше не занимался. Он поставил бревенчатую избу, где в мороз углы обрастали инеем, взял себе в жёны девушку из ближайшей деревни, работающую и бедную (кто ж из дома с достатком пойдёт за нищего поселенца), пахал землю, наловчился под конец жизни катать валенки, любые, на заказ, — хоть чёсанки по ноге чулочком, хоть грубые, на три года без подшива, — наплодил детей и был мирно похоронен на старом коршуновском погосте. Катя по матери шла от этого поселенца. Ещё в школе среди шевелюр цвета ржаной соломы, серых глаз, курносых лиц, всего обычного, что вырастает под скупым северным солнышком, она выделялась нездешней броской красотой — эллина среди коршуновцев!

Густые чёрные волосы зачёсаны назад, открывают небольшой чистый лоб, брови ровные, жёсткие, иссиня лоснятся, тёмный пушок пробегает над переносицей, соединяет их, глаза из-под ресниц влажно блестят, нос с горбинкой, с резко вырезанными ноздрями. Она последнее время немного пугала Сашу.

— Мы в райкоме комсомола посоветовались и решили предложить тебе — работай у нас. Пока будешь заведовать учётом, потом на пионерские дела перебросим...

Катя покровительственно взглянула на Сашу, но тот был равнодушен, даже чуть-чуть нахмурился.

В эту минуту Саша представил себе: что, если бы Игнат Егорович слышал их разговор? Уж сказал бы непременно: «Вылупиться не успел, а уж бросился на заведование».

— Подумай, какие у тебя впереди перспективы, — продолжала не торопясь Катя. — От комсомольской работы прямой путь на партийную. Помнишь Женю Волошину? Она мне комсомольский билет вручала, а теперь в обкоме партии ведущим отделом заведует... Не понимаю, чего ты молчишь. Ведь нет же более благородного, более высокого дела, как служить партии.

— Высокое дело? Это верно... — неохотно заговорил Саша. — Только ты сама портишь его.

— Я тебя не понимаю.

Катя была старше Саши только на год, но считала себя намного взрослее всех своих сверстников. В школе — бессменный секретарь комсомольской организации. Если нужно было от молодёжи выступить на торжественном заседании, назначали всегда её. Сразу же после школы пригласили работать в райкоме комсомола, и не каким-нибудь заведующим учётом, а инструктором. Наверняка ей быть одним из комсомольских секретарей. Не каждому-то так доверяют... А Саша — вчерашний школьник. Вот он сидит, упрямо опустив голову, видна ложбинка на шее, в ней светлая косица волос.

— Не понимаю тебя... — В голосе Кати слышался добрый, снисходительный упрёк, словно хочет сказать: «А ну, ну, скажи — почему упрямишься?»



— Что тут не понимать? Говоришь — высокое дело, а предлагаешь мне, непроверенному человеку.

Катя рассыпалась весёлым мелким смехом.

— Милый ты мой Сашенька! Да какой же ты непроверенный! У тебя и проверять нечего. Вот ты весь как на ладони: за границей не бывал, связей — даже с девочками — не имел. Не-про-ве-рен-ный!

Саша фыркнул осуждающе.

— Ответила!.. Привыкла мерять анкетой: был ли за границей, имел ли связи?.. Я пять дней назад узнал только, как в косилку лошадей запрягают. Где уж там проверенный! И такого сразу заведовать чем-то.

— Да ты с занозой. Вот не ожидала, — с прежней снисходительностью протянула Катя, но блестящие глаза с любопытством, скрытым интересом разглядывали Сашу. У него из распахнутого ворота мятой рубашки виднелась ключица, мальчишечья, трогательная, но тонкие губы твёрдо сжаты, взгляд больших светлых глаз открыто прям, смущает... Вот и не заметила, как изменился, — серьёзный растёт мужчина.

Снисходительный тон и пристальное разглядывание задела Сашу. Он заговорил резко:

— Ты вот станешь секретарём райкома комсомола, пойдёшь на курсы — поставят заведующим отделом в райкоме партии, может, до партийного секретаря дорастёшь... А такой, как Игнат Егорович Гмызин, есть председатель и останется им. Он-то свой колхоз уж будет знать. Тебе придётся ему советы разные давать, учить его, а что ты ему посоветуешь, если даже лошадь толком запрячь не умеешь?..

— Не хочешь, так не хочешь, — решительно произнесла она. — Твоя добрая воля. Давай об этом говорить не будем.

— Верно, не будем, — согласился Саша.

Но говорить им было больше не о чем.

Чистый, как мёд, закат потускнел. Куча тёсу днём среди поленниц, бочек для поливки огорода, половиков, развешанных на изгороди, была незаметна. Сейчас, в вечернем прохладном воздухе, она объявила о себе всему двору — смолисто запахла.

Саша исподтишка разглядывал Катю и вспоминал один случай.

Как-то возле школы играли в лапту. Звонком на урок оборвал игру. Все бросились к школьному крыльцу самым близким путём — через выбитую дыру в ограде, ребята впереди, девочки, смеясь и тараторя, сзади. Саша, последний из ребят, уселся в лазе, закрыл собой проход.

— Не пушу! Кругом обежите.

Девчата толкнули его раз-другой в спину, потоптались, кинули без обиды «дурак!» и побежали в обход. Вдруг затылком, всей спиной Саша почувствовал — к нему подходит Катя. Остановилась, помолчала, приказала:

— Пропусти!

Саша через плечо взглянул: острый подбородок вскинут, ресницы надменно опущены, в тени под ними, тронутые таинственной влагой, глаза. Уступить — позорно и сидеть, не двигаясь, — трудно.

— Пропусти!

— Не пушу.

— Пропусти!

И Саша не выдержал... Она прошла, а он покорно, в отдалении, поплёлся за ней. Плечи приподняты, походка небрежная, чувствует, конечно, что он глядит ей в спину.

...Катя пошевелила плечами:

— Холодно. Я пойду.

Саша распрямылся, приготовился прощаться. Но Катя не двинулась с места.

Ещё с минуту сидели молча, вдыхая свежий запах досок.

— Мне пора...

И опять не двинулась.

— Если можно, я провожу...

В сумерках лукаво, таинственно блеснули глаза Кати.

— Наконец-то! Тяжёл на догадку.

— Обожди минутку — переоденусь, руки вымою.

Он бросился в дом... Переодеваясь, прятал смущённое лицо от матери.

Луна упёрлась подбородком в верхушку старой липы. В тени по земле были разбросаны лунные зайчики. С лугов время от времени тянул сырой ветерок, и тогда лунная россыпь начинала ленивый хоровод. Один из крупных зайчиков лежал па белой кофточке Кати, как голубая ладошка.

Катя притихла, задумалась.

— Скажи, — она подняла голову, — тебе не кажется иногда, что эта жизнь пока не настоящая?

— В детстве казалось одно время, — ответил Саша не сразу. — Бегал с ребятами, купался, за налимками под коряги лазал, а ночью оставался один и думал: а что, если есть ещё какая-то жизнь, непохожая, спрятана в этой? Знаешь игрушечные матрёшки — одну откроешь, в ней другая сидит... Я всё ждал: проснусь, а кругом иначе. Река Шора, налимы, грибы в Прислоновском лесу — всё было не настоящее, просто снилось мне. Даже страшно иногда делалось. Говорят, учение такое было, идеалистическое, — ты живёшь, а всё кругом, как сон, или что-то в этом роде.

Но Катя покачала головой.

— Я не о том...

— О чём же?

— Вот ты ушёл в колхоз, работаешь... Ты думаешь, это и есть начало настоящей жизни?

— А как же? Теперь я в матрёшек не верю. Раз кончил школу — значит жить начал.

— А я вот всё жду чего-то большого, задания какого-то особенного или выдумываю — пошлют куда-нибудь. И знаю — обманываю себя, а жду...

— Какое задание?

Катя приблизила к Саше лицо: строгие, в одну линию брови, глаз в темноте не видно, но чувствуется — они блестят под ресницами, блестят решительно, с вызовом.

— Ты не смейся, но мне хочется чего-то головокружительного. Приказала бы партия — умри! Умерла бы!.. Тебе смешно? Наивная девчонка мечтает о подвиге, детство не выдохлось.

— Не смешно, только...

— ...только — пустое всё, фантазии. Надо жить, а не мечтать попусту. Верно, Саша, тысячу раз верно! Но это я уже слышала... — Катя неожиданно остыла, вздохнула. — Как мне на целину хотелось уехать...

— Почему же не уехала?

— Думала, думала, и руки опустились. Ну, что я умею делать? Я не тракторист, не механик, не комбайнер, даже не прицепщик...

— А комсомольский работник. Там, наверно, они тоже нужны.

— Таких ли комсогов туда посылают — со стажем, из городов, а я и года ещё не работала. Да и ехать за тысячи километров, чтоб опять стать тем же, — какой смысл?

— Тогда надо было выучиться на трактористку.

Домá, уткнувшись скнами в растрёпанные палисаднички, дремали во круг. Их крыши щедро поливала своим светом луна. Телеграфный столб от безделья и одиночества унылым баском пел про себя тягучую песню.

— Я вот тебе позавидовала,— начала Катя после молчания.— Решил уйти в колхоз и пошёл, стал учиться запрягать лошадей в косилку. Как подумаю — трактор, выхлопы разные, грязный мазут... Обычное, небольшое... Наверно, нет характера. Честное слово, завидую тебе... Я даже удивилась сегодня про себя: гляди ты какой!

Вдруг оборвав себя, Катя поспешно сунула руку:

— До свидания. Поздно.

Лунный зайчик сорвался с её груди и затерялся в выводке таких же, как он, разбросанных по траве...

Проскрипела калитка, простучали по сухой тропинке каблук. Уже из темноты, от дома, она насмешливо крикнула:

— Не загордись, смотри! Я, может, всё наврала.

Звякнула щеколда, хлопнула дверь.

Саша стоял, окружённый щедро разбросанными лунными пятачками, смотрел в темноту... Он протянул руку вперёд, поводил ею в темноте, пока лунный зайчик не упал на ладонь.

«Наврала?.. Ой, нет. Слово не воробей...» Шевельнулись ветви дерева, по влажным уже от выступившей росы листьям пробежал тихий шорох, словно очнулось от сна дерево и опять задремало. Зайчик соскользнул с ладони. Саша сконфуженно спрятал руку в карман.

На пустынном шоссе поблёскивали отшлифованные автомобильными шинами затылки булыжника. Посреди дороги валялся ржавый железный обод от бочки.

Не с ним ли возился днём напротив их двора Вовка, сынишка райисполкомовской уборщицы Клавдии? Он упрямо сопел, прилаживался, наконец наловчился — обод со звоном и грохотом покатился по булыжнику. Замелькали чёрные пятки, раздался победный, полный восторга клич.

Саша вспомнил этот клич, взлетающие пятки, чёрные, как обугленные в костре картошины, и тихо засмеялся.

## 11

В промкомбинате, вспугнув галок, простуженно прокричал гудок.

На усадьбе МТС девять раз ударили в подвешенный к столбу лемех плуга.

С крыльца почты сошёл, привычно сутулясь под набитой газетами сумкой, почтальон Кузьмич.

В магазине райпотребсоюза раскрылись двери, и степенная чета: дед, борода клинышком лисьего цвета, старуха с вьедливым взглядом, прибывшие спозаранок из деревни Прислон или Сухаревка, с пристрастием стали ощупывать выброшенную на прилавок штуку грубого драпа.

В парикмахерской артели «Красный быт» парикмахер Сударцев, прозванный злыми языками «Тупая бритва», принимаясь за подбородок заезжего председателя колхоза, начал решать с ним вопрос: какое ещё колечко выкинет в Вашингтоне сенатор Маккарти.

Как всегда, в девять утра в селе Коршунове начинался обычный трудовой день.

Павел Мансуров в свежей сорочке, в отутюженных брюках, заметно праздничный, шагал к райкому, придерживая локтем папку с документами. Почтальон Кузьмич встретил его обычным: «Газетку прихватите». Учитель Аркадий Максимович Зеленцов, мерявший дощатый тротуар лоснящейся от старости палкой, приподнял над головой соломенную шляпу: «Доброе утро». Вышедший из парикмахерской с отливающим синевой подбородком знакомый председатель из глубинного колхоза остановил его, поговорили о погоде, о пальцевой шестерне, которую никак не выпросят у МТС.

Привычное до мелочей утро! Люди здороваются с ним, разговаривают о каких-то пальцевых шестернях и не догадываются, что через десять минут он, Павел Мансуров, положит на стол секретаря райкома свою папку. А это ж событие и в их жизни! Здесь, в папке, лежат документы. Они указывают на причины многих недостатков. Раз причины известны, ошибки вскрыты, ничего другого не останется, как исправлять их.

Грохочут расхлябанными бортами грузовики по шоссе. Из открытых окон учреждений слышатся уже стук машинок и громкие голоса, вызывающие по телефону отдалённые сельсоветы:

— Верхнешорье! Верхнешорье!.. Какого рожна Сташино суётся? Девушка, скажите, чтоб не мешали!

С недавних пор Павлу Мансурову стал нравиться этот деловитый шум начинающегося дня в Коршунове. Он вдруг почувствовал себя опекуном коршуновцев, и от рождённого скукой недоброежелательства не осталось и следа.

С неделю назад Павел принёс свою папку Игнату Гмызину. Тот, уединившись в углу комнаты, принялся читать, время от времени качая головой.

Павел ушёл бродить по колхозу. Вернулся через час.

Игнат сидел на прежнем месте, курил, озабоченными глазами встретил Павла. Папка была закрыта.

Павел сел, с тревожным вниманием поглядывая на лицо Игната. Скажет сейчас: брось, не стоит шкурка выделки — опустятся руки. Нужно рядом чьё-то плечо, а у Игната оно не слабенькое.

А Игнат, словно нарочно, долго молчал. Открыв снова папку, навесив над ней свою крупную, блестящую голову, листал задумчиво.

— Да-а, — протянул он. — Просто, никакой хитрости. Собрал, что известно, в одно место и — на тебе! — получилась бомба.

— Ты — за?

— А то нет?.. Только что ж ты, брат, в одиночку копаешься?

— Как так «в одиночку»? Тут и Чистотелов положил мзду, и покойный Комелев, и Сутолоков, и директора МТС, а твоего разве мало? Я всего-навсего кладовщик — принимал да сортировал.

— Скорей старьёвщик. Что сам увидел, то поднял. Знали бы — понесли бы тебе.

— Кто-то понёс бы, а кто-то, верно, попробовал бы за руку схватить.

— Заступились бы...

— Не поздно. Пусть теперь заступятся.

— А как?

— Начнём обсуждать, встанут на мою сторону. Дело простое.

— А Баев у Комелева второй рукой был. Он, возможно, не захочет обсуждать.

— Можно заставить.

— Кто заставит, спроси? Ты? Он скажет тебе, что всё это ерунда, не твоего ума дело, положи под сукно твою папку, и что ты тогда сделаешь? Кулаками над его головой трясти будешь? Не запугаешь. На собраниях начнёшь теребить, бросишь обвинение, что замазывает ошибки? А кого твой крик тронет? Максима Пятерского? Федосия Мургина? Костю Зайцева? Так ведь они и слухом не слыхали об этих документах. Как же они будут поддерживать то, чего не знают? Раз взялся, надо быть уверенным, что не останется под канцелярским замком!..

Глядя на Игната, навалившегося пухлой грудью на стол, Павел невольно подумал: «А ты, брат, не так прост. Не выровняв горку, воз не спустишь...»

Всех колхозных председателей папка обойти не могла, да и не было в том нужды. Кроме Игната, она побывала у троих: у Максима Пятерского из колхоза имени Калинина, человека молчаливого, осторожного, у

Кости Зайцева, молодого председателя из «Первого мая», и у самого старого председателя в районе, Федосия Мургина.

За два дня до того, как Павел взял к себе обратно папку, к Игнату Гмызину заскочил Никита Прохоров, председатель «Первой пятилетки». Он уже где-то успел услышать о ходивших по рукам документах и специально завернул полюбопытствовать. С полчаса, не больше, сидел, мусолил бумаги, наконец встал из-за стола и, сказав: «Одначе...», уехал. А на следующий день встретивший Павла Баев спросил:

— Рассказывают кругом о какой-то папке. Что там выкопал? Почему это делается за спиной райкома?

Павел объяснил, что за спиной райкома он ничего не собирается делать, не сегодня-завтра всё выложит ему, Баеву, на стол.

Пора действовать!

Сейчас Павел нёс Баеву свою папку.

## 12

В кабинете Баева, на столе под стеклом, лежал отпечатанный на машинке список членов бюро Коршуновского райкома партии.

Верхняя фамилия — Комелев Степан Петрович — была зачёркнута. Вторым в списке стоял он, Баев.

Дальше — Зыбина Агния Павловна, секретарь райкома по зоне Коршуновской МТС, она же теперь второй секретарь. Эта каждое выступление на собраниях начинает с того, что нещадно бичует себя: «Я принимаю львиную долю вины на свой счёт. Я не намерена прикрывать недостатки своей работы... Я смотрю объективно и вижу позорно слабое вмешательство со своей стороны...» В таких случаях даже у Баева, старшего по работе, почему-то появлялось зудящее ощущение своей вины, невольно хотелось выступить, покаяться в каких-то неизвестных себе ошибках, взять какое-нибудь обязательство. Зыбина понятно, покаявшись, ополчится на Мансурова.

Следом за ней — фамилия Сутолокова, председателя райисполкома. В работе между секретарём райкома и председателем райисполкома нет резкой границы. По крайней мере её не видел Комелев. Он выполнял и свои обязанности и обязанности Сутолокова. Только на мелочи — настоять, чтоб доставили школе дрова, дать указание, чтоб отремонтировали крышу Дома культуры, замостили новым тёмом тротуар, — решался Сутолоков без согласия секретаря райкома. Что Баев ни скажет — Сутолоков поддержит.

Пятым в списке — Павел Мансуров. Его мнение в этом деле известно.

Редактор районной газеты Первачёв. Парень молодой, никогда особой решительности на заседаниях бюро не проявлял, ссориться с райкомовским начальством не любит.

Чистотелов — старый член партии, недавно получивший орден Трудового Красного Знамени за выслугу лет, человек авторитетный. Он, пожалуй, встанет на сторону Павла Мансурова. Мансуров отстаивает лён, а одного этого достаточно, чтоб Чистотелов поднялся в защиту.

Последним в список был вписан от руки Пугачёв Осип Осипович — райвоенком, дежурная личность, вечный кандидат в бюро. Год назад вывели из состава бюро директора МТС Семякина — временно стал членом бюро Пугачёв. Умер Комелев. Кого ввести вместо него? Опять кандидата Пугачёва. Баев сам переставил его фамилию из кандидатов в члены, разумеется на время, до первой конференции. Этот — «как большинство».

Семь действующих членов бюро. Только двое будут за то, чтоб обнаруживать материалы, собранные Мансуровым. Двое против пятерых. Баев считал вопрос уже решённым.

Как всегда, перед заседанием разговаривали, и под внешней непри­нуждённостью ощущалось старательное желание не коснуться ненароком вопросов, которые через несколько минут придётся обсуждать. Председа­тель райисполкома Сутолоков, седоголовый, с обветренным, добрым, ши­роким лицом, страстный лошадик, говорил о том, каких коней он видел в прошлом году в известном по области совхозе «Шамаринский коммуна­р».

— Распахнули ворота, и вылетает этакое языческое божество — глаза горят, грива растрёпана, двоих здоровенных парней несёт на поводьях...

Даже Баев слушал с интересом.

Этот человек до того, как стал работником райкома, имел в жизни две, далёких друг от друга, специальности: до войны преподавал ботанику, в войну командовал взводом пешей разведки. И, казалось, в наружности его эти занятия отпечатались каждое по-своему. Лицо рыхловатое, с пока­тым подбородком и вдумчивым складом рта — верхняя губа нависает над нижней. С таким лицом только и рассказывать проникновенно о тычин­ках и пестиках. Но короткая, прокалённая солнцем шея мужественна, руки длинные, подёрнутые тёмным волосом, кисти лопатами, пальцы полу­согнуты — можно верить, что с железной хваткой они ломали зазевавших­ся часовых где-нибудь ночью на берегу Днестра или Прута.

Перед ним на столе лежала папка Мансурова, её картонный верх был ещё более потёрт и захватан — она походила по рукам членов бюро.

Павел сидел с подчёркнутым безразличием — излишне прям, нога заки­нута за ногу, над белым, только что из-под утюга воротом рубашки брон­зовая, красивая голова вскинута чуточку выше обычного. И только когда Сутолоков пускался в особенно выразительные описания, Павел досад­ливо опускал веки — пора уже кончить лясы точить...

Появился майор Пугачёв, чья фамилия стояла в списке членов бюро последней.

— Прощу прощения, товарищи, за задержку, — с достоинством произ­нёс он, молодежато поскрипывая начищенными сапогами, прошёл к дива­ну, уселся, выставив грудь, откинув голову, невозмутимый, снисходительно добродушный, с красным от завидного здоровья и тесного воротника лицом.

Баев решительно передвинул папку на столе.

— Начнём, товарищи. Вопрос, собственно, всем известен. Вот... — Баев так же решительно сдвинул папку на прежнее место. — Вот материалы о недостатках нашего района, выражающиеся главным образом... э-э... в планировании, кстати сказать, от нас не зависящем. Мансуров требует широкого обсуждения их.

Второй секретарь Зыбина — в глубоком кресле, как птица в гнёздыш­ке, плечи подняты, руки уютно лежат на животе. — произнесла вкрадчиво:

— Я думаю, первое слово дадим Мансурову, так сказать, виновнику сегодняшнего события.

Баев наклонил голову: «Не возражаю».

Павел ждал этого, поднялся, стройный, напряженный, молча пере­водил с лица на лицо потемневшие глаза.

— Я своё слово сказал. Вот оно! — Голос его, сочный и сильный, за­полнил кабинет. — Остаётся добавить очень немного. Если критика и са­мокритика не будут действовать, если снизу народ не станет замечать оши­бок, то обязательно наше планирование пойдёт вслепую, обязательно оно станет ошибаться. Я, как коммунист, требую обсудить это, — Павел вы­бросил руку в сторону папки, — не только на бюро, в тесном кругу, а среди рядовых коммунистов!

Павел сел, попрежнему напряженный, вытянувшийся.

Попросил слова агроном Чистотелов. Костистый, громоздкий, он нелов­ко чувствовал себя за столом на скрипящем лёгком стуле — ненадёжной продукции местного промкомбината.

— Говорить тут много нечего, дорогие товарищи, — выдал он своим густым басом. — Мансуров вывернул все наши грехи. Прятать их от людей нельзя. Кто, как не люди, будет их исправлять?.. — и, видя, что все ждут от него ещё чего-то, обрезал: — Всё!

С места вскочил редактор районной газеты «Колхозная трибуна» Первачёв. Коренастый, большоголовый, как молодой бычок, налитый здоровьем, он резко, оборачиваясь направо-налево своей лобастой головой, заговорил:

— Я тоже целиком согласен с Мансуровым!..

Баев внимательным и долгим взглядом посмотрел на Первачёва.

— Взять нашу газету. С чем она борется? Доярку Петухову за неряшливость продёрнули, бригадира Ловчукова за пьянство раскатали, ну, там навоз не вывезен, горячее во-время не подброшено. По-цыплячьи клюём жизнь, а крупное взять за загринок не решаемся. Можем ли мы так исправить наши недостатки? Нет, не можем! Пора пользоваться критикой и самокритикой не в шутку, всерьёз, решительно!

— Мне нравится такой запал... Простите, вы уже, кажется, кончили? — Зыбина не поднялась, а ещё уютнее устроилась в кресле; склонив набок голсу, с мягкой улыбкой она обвела всех открытым, чистосердечным взглядом своих ясных глаз. — Вы меня знаете. Я всегда говорю прямо. В тех недостатках, что занёс в эту папку Павел Сергеевич, есть и моя вина. И вели-икая! Но мне непонятно, товарищи, кого хотят Первачёв с Мансуровым взять за загринок? — Снова светлые, чистосердечные глаза обежали лица присутствующих. — Обком партии? Облисполком? Может, министерство сельского хозяйства? Ведь планы-то идут к нам в район от них. Дорогие товарищи, прежде чем искать чей-то высокий (простите, с ваших слов говорю) загринок, надо прощупать себя, со всем пристрастием. Я, например, не скрываю, что наш райком и я лично... Да, я!.. (Не собираюсь прятаться за чужую спину.) Я лично повинна и в том, что на корма для скота, на силос в частности, как и многие районные руководители, обращала чрез-вы-чайно мало внимания. Я решительно беру вину на себя и в том...

Зыбина это говорила с такой мягкой улыбкой, глядела такими невинными глазами, с такой простотой принимала на себя вину за все тяжкие грехи района, что Баеву, да и всем остальным, стало легче на душе — ей-богу, не так страшен чёрт, как его размалевал Павел Мансуров. Ну, виноват райком, виноваты товарищи из области, даже из министерства, но ведь кто без греха, стоит ли так горячо принимать к сердцу?..

— К тому же надо помнить, — веско произнёс Баев, — тебе в особенности, товарищ Мансуров, о партийной и государственной дисциплине. Твои замечания интересны и смелы, но они могут расшатать налаженный порядок, внести дезорганизацию в работу партийных и советских органов, нарушить дисциплину.

— Верно, совершенно верно! — поспешно согласился Сутолоков.

Павел снова вскочил на ноги.

— Нет, не верно!

Разгорелся спор. Забасил Чистотелов. Первачёв шумно заговорил с соседом, разясняя разницу между армейской и государственной дисциплиной. Павел Мансуров бросил упрёк Зыбиной:

— Твоя критика — не критика, а своеобразный зажим. Масло елейное на болячку!

Покойное доброжелательство как-то сразу свернулось на лице Зыбиной, ушло вглубь; на ясные глаза, глядевшие с таким чистосердечием, обиженно опустились веки.

Баев опустил на стол тяжёлую руку.

— Хватит, товарищи. Такие высокотеоретические дебаты можно продолжать до бесконечности.

Из семи членов бюро, чьи фамилии лежали перед ним под стеклом, высказались шесть. Голоса разделились: три за Мансурова, три против. Один райвоенком Пугачёв, возвышаясь на диване в своём наглухо застёгнутом кителе, хранил глубокомысленное молчание.

— Как твоё мнение, Осип Осипович? — спросил его Баев.

Осип Осипович двинул вставленной в тугой воротник головой и не спеша, с достоинством ответил:

— Дисциплина есть дисциплина... Я присоединяюсь к вашему мнению, товарищ Баев.

Бюро кончилось. Молодцевато поскрипывая начищенными сапогами, райвоенком Пугачёв первым покинул кабинет секретаря райкома.

## 13

На самой окраине Коршунова, неподалёку от шоссе, на песчаном взлобке стоит сосна. Выросшая на приволье, она когда-то проражала своей мощью. И теперь ещё нельзя не заметить остатков её былой силы. Толстенный — вдвоём только охватишь — ствол весь в чудовищных узлах и сплетениях: ни дать ни взять окаменевшие в сверхъестественном напряжении мускулы гиганта. Нижние ветви, сами толщиной в ствол молодой сосёнки, раскинулись с удалой свободой, висят над всем взлобком. Но это остатки... Толстая, бугристая кора, смахивающая на шероховатый бок выветренной скалы, трухлява, местами обвалилась, обнажив тёмное, изъеденное короедами тело сосны. Ветви высохли, торчат в стороны, как гигантские костлявые руки, сведённые намертво в какой-то загадочной страстной мольбе. Дереву уже не в радость приволье, солнце, дожди. Только на самой верхушке клочок жёсткой старческой хвои — единственный признак тлеющей жизни. Костистые мёртвые сучья охраняют это жалкое счастье, последнюю надежду. Но и с этого клочка ещё сыплются крошечными пергаментными мотыльками семечки, падают шишки; почти мёртвое дерево — по привычке ли, по упрямству ли — цветёт, плодоносит, настойчиво выполняет обязанность, возложенную на него природой, — продолжать свой род.

Говорят, у каких-то народов были свои священные деревья, к их подножию приносились дары. Для Саши таким деревом стала эта древняя сосна, стоящая на окраине села Коршунова.

Жизнь Саши, казалось, внешне идёт однообразно: утром — дымящийся туманом Лешачий омут, днём — работа на лугах, вечером вместе с Игнатом сидел за учебниками — время уже ехать в институт, сдавать экзамены. Проходил день за днём — и у всех одинаковый порядок.

Но внутри каждого дня были свои едва уловимые, никому со стороны не заметные радости и неожиданности.

Шёл Саша по полю ржи, сорвал колосок, стал его разглядывать — почти налившийся, зелёный, жёстко щекоуший ладонь. Тысячу раз он видел такой колосок, тысячу раз держал в руке, а сегодня вдруг удивился ему. Вот он — простое создание природы, хлеб! От него шли по свету бок о бок человеческая беда и человеческое счастье. Не ради ль такого колоска кострами вспыхивали барские гнёзда? Не ради ль такого колоска умирали под плетями бунтующие мужики, звенели кандалами по Владимирке, целые деревни снимались с родных мест, скрипя немазаными телегами, оставляя у дорог могилы, тащились на чужбину. Не ради ль такого колоска надорвал своё здоровье его, Саши Комелева, отец? Вот он неласково жёсткий ржаной колос, испокон веков политый потом, слезами, кровью. Он и милость, он и горе, он и кормилец, он и убивец — ржаной жёсткий колосок! Пронёсся ветер, ровно и грозно зашумело поле... Шуми, шуми, рожь! Привычен и дорог твой шум, кормилица! Что бы ни напомнил твой колос, но шум его под ветром всё равно успокаивает и радует...



В другое время такое удивление перед простым колоском быстро забылось бы — мало ли чего не придёт в голову... Но теперь Саша запоминал его, бережно прятал где-то в глубине души: «Ужо расскажу потом...»

Прошёл ли он с косою-литовкой свой первый в жизни загон, устал, облился потом; ночевал ли он на «Сахалине» за деревней Большой Лес среди комаров, приткнувшись у костра; наловчился ли под доглядом плотника Фунтикова «вынимать череп» вдоль по бревну — все эти маленькие радости и маленькие победы он заботливо хранил про себя, давал себе обещание: «Ужо расскажу потом...»

Каждый вечер, около одиннадцати часов, Игнат Егорович вытягивал за цепочку тяжёлые, тусклого серебра часы и, прищёлкнув крышкой, объявлял:

— На сегодня — шабаш.

Поскрипывая половицами, шёл за перегородку к жене, кряхтя стаскивал сапоги.

Он был уверен, что Саша после команды «шабаш» задвинет, как показано, в сених засов, поднимется на поветь, нырнёт до утра под одеяло.

Но часто случалось иначе... Саша задвигал засов, поднимался на поветь, хватал пиджак и... стараясь не скрипнуть воротами, ведущими на съезд, выскакивал во двор. Пиджак, путаясь в рукавах, он надевал уже на улице.

На шоссе, у поворота, он, запыхавшись, останавливался, ждал попутную машину. Иногда Саша поднимал руку и садился в кузов на добрых началах с шофёром, иногда — зачем по пустякам тревожить рабочего человека — без особых приглашений на ходу перекидывал тело за борт. На крутом подъёме перед селом Коршуновым спрыгивал, не желая ни прощаться с шофёром, ни благодарить его: шофёры — народ не слишком воспитанный, как правило, к словам благодарности требуют добавить пятёрку за проезд.

Ночью при луне старческое безобразие сосны почти не заметно. Голые, перепутанные ветви кажутся живыми. Их неистовая страсть, застывшая в тёмном небе, невольно вызывает благоговейный ужас. Подчёркнутые резкими тенями складки, морщины, неровности на широком стволе поражают какой-то вековой мудростью. Ночью при луне старое дерево красиво...

К подножию сосны в ночной час Саша и приносил своё единственное богатство — светлые события прошедших дней, всё то, что составляло его негромкое счастье.

Катя сидела на земле, опутанной бугристыми корневищами, раскинув по ним лёгкий подол платья, и слушала...

Кричал дергач на соседнем болотце, на небе, закрывая луну и звёзды, владычествовала сосна. Одни на всём свете. Одни! В этом и счастье.

Саша заново переживал с Катей и удивление перед простым колоском, и усталость после косьбы, и гордость собой, что постиг мудрёное плотницкое искусство — «вынуть череп»...

Даже Лешачий омут, даже солнце, что грело его, даже ветер, что охлаждал его мокрую спину, — все обычные радости хотелось передать ей, вызвать этим и у неё радость. Но слаб язык, мало нужных слов — сстой доли не в силах рассказать!..

И хоть всё рассказать не под силу, а ночи всегда не хватает...

Между ветвей старой сосны небо начинает бледнеть, слабый свет открывает для глаз старческую немощь древнего дерева. С шоссе слышится шум первой машины. В неясном пепельном свете катино лицо кажется усталым и от этого каким-то домашним, привычным, но странно — на усталом лице возбуждённо, горячо блестят чёрные глаза.

Она поднимается, тонкими пальцами направляет за уши выбившиеся волосы, чуть приметным движением ресниц сообщает: «Пора...»

Даже не приласкает, не скажет ничего особенного, а только двинет ресницами, и за это движение, если б было можно, Саша готов упасть ей под ноги — пусть светает, пусть наступает день, пусть идёт время! Всё забыть, лечь бы так у её ног, не уходить. Сил нет расстаться!

...А часа через три Игнат Егорович уже тряс Сашу за плечо, всякий раз удивляясь:

— Ну и спишь, хоть трактором тащи... Раскачивайся, братец, раскачивайся — самовар на столе. Не пристало нам с тобою выходить на работу позже колхозников.

Убедившись, что Саша раскачался и больше не спрячет голову под одеяло, Игнат Егорович поворачивался и, уходя, сообщал:

— Свежий воздух, оттого и сон крепок. — Спускаясь по шатким приступкам, ещё раз углублял свою догадку: — Свежий воздух и молодость...

## 14

Они не виделись три дня.

Саша сидел в правлении вместе с бригадирами, принимал, стоя на зароде, с деревянных вил Лёшки Ляпунова охапки сена, обсуждал вечерами с Игнатом Егоровичем особенности щелочных соединений — и всё время он чувствовал, что впереди его ждёт счастливая минута. С ним разговаривали; если зазеваешься, сердито кричали на него, советовались, просто сидели рядом — и никто не догадывался, что он не такой, как все, особенный, счастливый. У него впереди радость, у него впереди подарок! От этого Саша и с людьми был добрее. Лёшке-крикуну подарил выкованный в кузнице наконечник остроги в пять зубьев, к Игнату Егоровичу, упрямо заставлявшему торчать над учебниками, минутами испытывал нежность. Все Саше казались по сравнению с ним обиженными — нельзя не быть добрым...

Он считал: осталось два дня — вечность, остался один — значит завтра, пять часов, три, час!.. Пора! А Игнат Егорович никак не мог разобраться в кислотных остатках... Но вот он щёлкает крышкой часов и объявляет: «На сегодня — шабаш...» И Саша свободен.

...Вот и сосна, в путанице сухих ветвей застрял узкий серп месяца... Здесь ли? Пришла ли? Не заболела ли? Вдруг что случилось?..

Здесь, умница. Уже ждёт. Закуталась в платок, притаилась под деревом.

— Здравствуй, Катя...

Она протягивает ему руку:

— Садись.

В прошлый раз вместе с другими новостями Саша рассказал о папке Мансурова, в которую ему удалось заглянуть, пока та лежала у Игната Егоровича.

— Слышал, — сообщила сейчас Катя, — было бюро райкома. Ту папку обсуждали.

— Слышал. Игнат Егорович сказал мне. По-казённому обсудили.

— Твой Игнат Егорович, Сашенька, узко смотрит. Ему хочется, чтоб только у него под боком тепло было.

— Катя, ты не знаешь его.

— Знаю, что обсуждение папки ему для чего-то своего выгодно.

— Не ему выгодно — всем. И Федосию Мургину и Максиму Пятерскому... Всем председателям, всем колхозникам, всему району.

— Значит, райком партии против выгоды района? Смешно. Кто повелит этому?

— Так получается...

— Саша! — Опираясь смутно белевшей в сумерках рукой на бугристый ствол сосны, Катя привстала, широко темневшими на лице глазами

разглядывала Сашу. — Не веришь райкому? Как ты смеешь? Да ты дай себе отчёт, что сказал!

— Ведь факт — ошибся.

— Райком?!

— Разве этого не может быть?

Катя, стоя на коленях, распрямившись, продолжала смотреть на Сашу, и даже в темноте было видно, как её лицо выражало откровенный ужас.

— Ты знаешь, что для меня самое святое? — спросила она тихо. — Вера в партию! Для меня счастье, если б я сумела доказать эту веру. Хоть ценой жизни!.. Тот, кто не верит, — мне враг, личный враг! Смертельный!

— Я не меньше тебя верю в партию.

— Бюро райкома — партийное руководство района — решило так, ты не согласен. «Ошиблись, но-казённому подошли...» Да где твоя вера? Нет её! Своему Игнату Егоровичу веришь только!

— Бюро райкома ещё не вся партия. Партия — это Игнат Гмызин, Петерский — миллионы...

— А что будет, если они перестанут верить бюро?.. Руки должны слушать голову. Что получится, если каждый Игнат Гмызин станет возражать? Дисциплина развалится, ослабеет партия.

— Если прислушаться к Игнату Гмызину, только умнее станешь. От лишнего ума слабее не делаются.

— Ну, как мне с тобой быть! — с отчаянием и досадой воскликнула Катя.

Как и в прошлые встречи, из болотца доносился скрип коростеля, так же над их головами величественно раскидала свои костлявые ветви сосна, более крупные звёзды прокалывали насквозь эту толщу ветвей. Всё кругом по-старому, ничего не изменилось. А Катя другая.

В прошлый раз она, подтянув к подбородку колени, вся сжавшаяся от ночной сырости, сидела перед ним тихая, покойная, ни выражения лица, ни даже глаз и бровей не различить, но так и тянет от неё вниманием. Теперь отчуждённо отодвинулась, смутно маячит в темноте, смотрит в сторону.

Катю уже в третьем классе выбрали старостой, она была пионервожатой, была секретарём комитета комсомола. От неё требовали: следи за дисциплиной, поднимай авторитет учителя. И Катя следила... Авторитет, дисциплина с детского возраста для неё — столбы, на которых держится жизнь. И вот кто? Саша подкапывает их!

— Саша, — произнесла она холодно, — ты не обижайся, но я тебе скажу... Если б слышал тебя твой отец, разве бы его не обидело?

— Я не против райкома! — вспыхнул Саша.

— Как же так не против? Игнат Егорович взрослый и опытный человек, ему нетрудно поднять под себя такого, как ты... Поддался. Стыдно! Память отца, выходит, предал.

Саша вскочил на ноги.

— Как ты смеешь?..

— Ты прости, я не хочу тебя обидеть...

— Уже обидела! Не честно это!.. Я, может...

— Сашенька, пойми...

Но Саша резко повернулся. Узкая, как кривой нож, луна осветила его: длинная спина как-то болезненно вытянута, кепка на затылке торчит с жалобным недоумением...

Катя приподнялась.

— Саша-а!

Он не оглянулся. Затрещали кусты вересняка, посыпался песок из-под ног...

На подвёртывающихся каблучках Катя бросилась в темноту.  
— Са-аша-а!

Ответа не было. Только уже от шоссе донеслись чуть слышные, торопливые шаги. Катя остановилась у поросшего кустами спуска, долго лбвила звук шагов, пока тот не стих совсем. Рядом с ней, растопырив широкие, как слоновьи уши, лопухи, так же напряжённо вслушивался в ночную тишину высокий репейник. Безмятежно покрикивал коростель на болотце...

Катя опустила на жёсткую траву и заплакала.

Предал отца, его память!.. Предал?.. Жизнь сложна, один о ней думает так, другой иначе, а правда всякий раз — одна. Её надо искать и найти, одну правду, одну истину, один путь, как сделать жизнь красивой! Отец и Игнат Егорович не из разных лагерей — свои! Она не понимает...

На следующий день Саша чувствовал себя несчастным. Было у него своё солнышко, грело его, манило — живи, жди, радуйся, впереди подарок, впереди счастье. Чего теперь ждать, куда итти? А люди живут, как жили. Какое им дело, что пусто стало кругом для Саши...

И, может быть, Саша не выдержал бы, пошёл первый искать Катю, но тут Игнат Егорович сообщил, что пора собираться в дорогу, заочное отделение института объявило о приёме...

## 15

Баев считал, что о папке Мансурова, как и о всяком событии, он обязан сообщить в обком партии. Кроме того, об этой папке уже ходят из колхоза в колхоз слухи. Не без того, в них что-то и преувеличивается, раздувается, искажается. На собраниях, возможно, станут требовать ответа от Баева: почему да как? В таких случаях ответ должен быть один — папка отправлена в обком.

Баев вызвал к себе инструктора Сурепкина.

Если в весеннюю распутицу в самом удалённом от села Коршунова Верхне-Шорском сельсовете надо было проверить готовность колхозов к севу или выступить там на партсобрании, посылали самого безответного — Серафима Мироновича Сурепкина. Этот не станет отговариваться болезнями или семейными причинами, не остановят его ни непролазная грязь, ни большие расстояния. Облазает колхозные конюшни, ощупает семенной материал, оглядит инвентарь, пожурит председателей, пристрашает: доложу! И, возвратившись (опять же по оказии, то на случайных машинах, то на подводе, то пешком), обязательно всё в точности сообщит: то-то подготовлено, того-то не хватает, распоряжения переданы.

Если его спросят:

— Вот в областной газете писалось об инициативе колхозников Пальчихинского района... Вы это разъяснили колхозникам?

Он ответит:

— Не было наказано. А то долго ли...

Серафим Миронович делает только то, что ему наказано, но не больше. Однако, если рассерженному начальству вздумается тут же, с ходу, повернуть его: «Идите, сделайте! Наперёд будете догадливей», Серафим Миронович, не обронив ни слова, сразу же направится обратно пешком, на оказиях, в грязь и обязательно исправит оплошность.

Бывший батрак, в партию он вступил, когда Баев, ныне секретарь райкома, был мальчишкой. За все эти годы Сурепкин не получил ни одного партийного взыскания, но и особых заслуг за ним не числилось. Так как ничего другого не имел, Серафим Миронович находил должным гордиться и этим. «Я перед партией чист, как стёклышко», — частенько говаривал он со скромным достоинством.

С годами у Сурепкина появилась лишь одна слабость, да и та безобидная,— очень любил выступать на собраниях.

В привычном для всех порыжевшем пиджаке, надетом поверх армейской гимнастёрки, длинные, по-крестьянски широкие руки вылезают из рукавов, лицо, как и пиджак, тоже порыжевшее, вылинявшее на солнце — под кустиками бровей какого-то мыльного цвета покойные глазки, крепкий, как проволока, ёжик волос над морщинистым лбом... В редкие минуты, когда Серафиму Мироновичу приходилось задумываться, ёжик начал «гулять» взад-вперёд.

Сурепкин предстал перед Баевым.

— Вы звали меня, Николай Георгиевич?

— Поедешь в обком, отвезёшь это дело,— Баев вынул из стола папку,— дождёшься ответа, узнаешь мнение областного комитета. Поручение важное, поэтому и посылаем, иначе просто переслали бы по почте.

— Когда ехать?

— Собирайся сейчас.

— Поезд завтра в шесть утра отходит.

— Вот с этим поездом.

— Хорошо.

— Ты знаешь, что в этой папке?

— А как же, слышал.

— Будут беседовать с тобой, можешь передать мнение членов бюро. Впрочем, решение бюро здесь прилагается. Я лично считаю, что такие нападки переходят грань необходимой критики, вносят дезорганизацию в работу. Словом, вот!..

Сурепкин бережно принял папку.

Общежитие института было переполнено заочниками. Игнат сумел отвоевать только одну койку для Саши, самому пришлось устроиться в гостинице.

Проснувшись утром, натягивая сапоги, Игнат вдруг заметил через койку рыжеватый жёсткий ёжик волос, оторвавшийся от подушки.

— Эге! Серафим Мироныч! Какими путями?

— Здравствуй, Игнат Егорович, — обрадованно отозвался Сурепкин. — От райкома командирован.

Через полчаса они вместе вышли из гостиницы. Игнат в просторном пиджаке, в галифе, мягких хромовых сапожках, всё выглаженное, свежее, начищенное до блеска, как и подобает у колхозного председателя, не часто попадающего в областной город. Серафим Миронович в чёрном праздничном костюме, режущем подмышками, с узенькими короткими брючками, под локтем — затёртый разбухший портфель.

— Так, значит, ты идёшь передавать нашумевшие бумаги в обком? — спросил Игнат, косясь на портфель.

— Самому первому в руки.

— Баев надеется, что за него похоронит собранные Мансуровым материалы обком?

— Ничего не знаю. Моё дело передать, выслушать замечания.

— А ежели спросят и твоё мнение?..

Вышагивая по нагретому асфальтовому тротуару медлительной, журавлиной походочкой, Серафим Миронович помолчал с минутку, затем ответил с достоинством:

— Моё личное мнение такое: нападки на планы, какие делает Павел Сергеевич, переходят грань критики, вносят дезорганизацию... — Замолчав, он скромно вздохнул.

— Оно верно, мнение свежее. По пословице: «Чьё кушаю, того и слушаю».

Но природное добродушие Сурепкина трудно было прошибить чем-либо — он не заметил ухмылки Игната.

Недалеко от здания обкома Игнат остановился у парикмахерской, попросил Сурепкина подождать и вышел с гладкой, отливающей синевой головой, посуровевший, подобранный, словно оставил за стеклянными дверями парикмахерской прежнее добродушие.

Таким он и вошёл в обком. Нагнув лоснящийся крупный череп, распространяя вокруг себя запах дешёвого одеколona, тяжёлый, громоздкий, — казалось, случись нужда, прошибёт любую дверь, — решительным шагом поднялся по широкой лестнице прохладного вестибюля. Сурепкин отмеривал за ним ступеньки журавлиной поступью...

.....

Есть гордые слова, — мужественные и сильные сами по себе, они, брошенные во-время, вызывают отвагу и дерзость. Эти слова — семена, из них вырастают человеческие подвиги.

Но есть и другие слова. В них не чувствуется ни красоты, ни гордости, ни силы. Они незаметны, серы, будничны. Их не бросают с трибун, они произносятся без пафоса. Тот, кто употребляет их, обращается с этими словами без особого почтения, бросает их на ходу виноватым ли, сухим ли, брюзжащим, вежливым или же вовсе бесцветным голосом. И тем не менее такие слова по-своему могущественны. Страстные желания, кипучая напористость, волевое упрямство, молодой азарт — всё способно потушить подобное слово.

Не последнее из числа этих слов — безобидный на первый взгляд глагол «ждать», — он действует сам, к тому же наплодил себе подобных.

В обкоме партии как Игнату Гмызину, так и Сурепкину ответили просто:

— Подождите, разберёмся.

И они стали ждать.

Игнат сдавал экзамены, умудрялся выкраивать время на улаживание колхозных дел в торговых и строительных организациях, часто наведывался в обком, но там наткнулся на одно:

— Подождите.

Серафим Сурепкин под действием этого слова день ото дня тускнел, у него кончились командировочные деньги, и Игнат Гмызин водил его обедать в студенческую столовую, даже для поддержания духа поил пивом.

А в Коршунове с нетерпением ждал решения Павел Мансуров...

Областной город К\*\*\* ничем не знаменит — асфальтовые улицы и булыжные мостовые в переулках, многоэтажные дома и потасканные домишки в четыре оконца, оперный театр, три института, музеи, кинотеатры, стадион, водная станция, троллейбусы, автобусы и солидная история — в старое время сюда ссылались видные писатели и общественные деятели...

Для самого города и для его жителей вовсе не событие, что на улицах появился долговязый паренёк с густым деревенским загаром на лице, в кепке, надвинутой на возбуждённые светлые глаза, в шевиотовом, с короткими рукавами пиджаке и добротных, старательно начищенных яловых сапогах. Он один из тысяч прохожих, он крохотная песчинка, принесённая со стороны.

Но город для этого паренька — величайшее событие в его короткой ещё жизни.

Саша до сих пор один-единственный раз выезжал из села Коршунова. То было давно, ещё до войны, когда ездили в гости к тётке, живущей под

Ленинградом. Из этой поездки запомнилось только — мозаичный пол в одном из вокзалов да строгий швейцар с седыми усами и баками.

Только по книгам и кинокартинам знал Саша лежащий за лесами сахалинской поскотины великий и шумный мир. Только из книг он знал, что существуют реки больше, чем их Шора, что в городах среди домов можно заблудиться, как в лесу, что и самые дома там необычные — в каждый из них войдёт всё население такого села, как Коршуново, да ещё пришлось бы подзанимать людей из соседних деревень. Есть на свете пустыни, есть моря, есть высокие (что там Городище!) горы. Когда узнаёшь обо всём этом в тихом селе Коршунове, где знаком каждый камень на дороге, каждый куст на берегу, то мир кажется таким же невероятным, как и сказки из детских книжек. Подвиг Иванушки, пролезшего в ухо Сивки-Бурки, и море, вода без конца и краю, причём не обычная, а солёная, которую нельзя пить,— разве не одинаковое по невероятности чудо?..

И вот Саша перешагнул через порог в большой мир. Пусть этот город один из самых заурядных в стране, местами пыльный, местами грязный, местами в глухих переулочках просто похож на село Коршуново, но это город! И Саша не замечал в нём недостатков, всему удивлялся — высоким этажам, витринам магазинов, асфальту, обилию машин, даже воздуху, пахнущему перегаром бензина.

Этот город не только ворота в широкий мир, он ещё и дверь в его, сашину, новую жизнь. Недалеко от центра напирает на улицу бесчисленными окнами громадный серый дом с чёрной вывеской у высоких дверей: «Областной сельскохозяйственный институт». Этот дом — его судьба, его надежды, его будущее счастье. Пять лет из этого дома будут следить за ним, Сашей Комелевым, колхозником колхоза «Труженик», следить за тем, как он набирает ума и опыта. Этот дом — новый опекун, непонятный и пока ещё немного пугающий учитель. И когда этот дом отпустит от себя Сашу, тогда только и начнётся по-настоящему взрослая жизнь.

Первые экзамены Саша сдал лучше Игната Егоровича. Тот позаиводовал:

— Что значит мозги свежие. Моя вот коробка лишним набита, не сразу нужное вытащишь.

Здесь, в городе, Саша почувствовал новые силы и какое-то новое, неизвестное прежде, уважение к себе. У него серьёзное дело, он здесь завоеватель. Не тот завоеватель, о которых приходилось читать в книгах, не мир, не славу приехал он завоёвывать, а своё будущее.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 1

Молодое весеннее солнце, пробив туманные стёкла двойных рам, пергородив кабинет золотистыми полотнищами пыли, спокойно лежало на плане района, прибитом к стене. На широком листе жёлтой кальки красной тушью обведены границы. Если взглядеться, контур Коршуновского района напоминает разлапистый след сказочного медведя. В восточной части, где граница идёт по извилистой речонке Парасковьюшке, выдающийся мысок смахивает на коготь...

Синие прожилки рек, речек, речушек, рябинки озёр, косая штриховка пахотных полей, кружочки с подписями — сёла и деревни, и просто не тронутая тушью бумага — леса, «белые пятна» на плане. Они теснят со всех сторон, напирают на поля, сгоняют деревни и сёла к берегам рек...

Солнце освещает план.

«Вот и перезимовали...» Павел Мансуров курил, и дым от папиросы растворялся в солнечной пыли. Он нетерпеливо поглядывал в окно на унавоженный, мокро-глянцевитый булыжник шоссе, ждал машину.

В эту зиму случилось неожиданное...

Кончили сеять озимые, поспели хлеба, началась уборка — всё шло по-старому. Павел Мансуров попрежнему работал в отделе пропаганды, созывал семинары, отсылал отчёты о проведённых докладах и лекциях, ездил в командировки, подгонял председателей. Время от времени заглядывал к Игнату Гмызину. Тот хлопотливо, как муравей, налаживал хозяйство своего колхоза: рыл силосные ямы, цементировал их, умудрялся отрывать во время уборки людей на косьбу отавы... В разговорах он сердито качал своей бритой головой:

— Опять, брат, похоже, мы по воздуху с тобой ударили, некого бить! Из обкома на все запросы о папке приходил один ответ:

— Ждите.

В конце концов не только Баев и занятый по горло Игнат, но и сам Павел перестал вспоминать свою папку. Он насколько мог добросовестно делал, что от него требовали, и, тоскуя, мечтал, как бы вырваться из Коршунова.

А в Коршунове по утрам дед Емельян встречал выходящих из ворот коров. На огородах копали картошку. По воскресеньям делопроизводители, бухгалтеры, заведующие конторами, вооружив всех членов своих семейств корзинами и кухонными ножами, отправлялись в лес по грибы, чтобы поразмяться после недельного сидения на канцелярских стульях. Всё знакомо. Всё надоело. Павел Мансуров чувствовал себя одиноким, заброшенным, несчастным. Как бы вырваться из Коршунова?

Прошло затяжное бабье лето с седой паутиной на сухой стерне, с прозрачным застойным воздухом, с шёпотом опадавших листьев, с инеем на тесовых крышах по утрам. Ударили первые заморозки...

И только тут из обкома пришёл официальный коротенький ответ: документы, собранные товарищем Мансуровым, пересланы в ЦК партии.

Павел Мансуров, узнав об этом, промолчал. Игнат насмешливо бросил:

— Долго же они решались на такой подвиг!

А Баев неожиданно стал с большим уважением относиться к Павлу — не отмахнулись, в ЦК переслали. Дело, выходит, не шуточное.

Ещё до того, как в газетах появилось новое постановление ЦК о планировании в сельском хозяйстве, Павла срочно вызвали в обком; к его удивлению, вспомнили папку, попросили выступить со статьёй в областной газете...

И с этого момента всё перевернулось в жизни Мансурова. Незаметный районный работник, фамилия которого мельком упоминалась в отчётах, неожиданно стал знаменит в партийных кругах.

Областная газета печатала его статьи о недостатках планирования.

Первый секретарь обкома Курганов в своих докладах брал примеры из его папки.

Обком партии предложил Коршуновскому району пересмотреть состав бюро.

На внеочередном пленуме в бюро был введён Игнат Гмызин. Баев, ошеломлённый и подавленный, выступил с просьбой освободить его от партийной работы, выразил желание уйти снова в школу педагогом-биологом.

Павла Мансурова избрали первым секретарём.

За окнами был мягкий зимний день. Мелкий сухой снежок нехотя падал за окном на крыши коршуновских домов, на шоссе, на прохожих, в кузова проезжающих грузовиков. Покойным рассеянным светом, отражённым от снега, был залит кабинет: стол под зелёным сукном, громоздкий мраморный прибор на нём, стул, на котором четыре с лишним года сидел Комелев и несколько месяцев — Баев.



Павел опустился на этот стул. Гордость собой, скрытая радость охватили его. По цифре, по факту собирал он папку, по зёрнышку, по крупнице делал он насыпь, чтоб с неё шагнуть к этому стулу. (что скрывать — хотел этого). Теперь он первый человек в районе; ни Комелевы, ни Баевы не висят над головой. Он, Павел Мансуров, молод, он не остановится здесь...

Павел не вылезал из МТС и колхозов — готовил район к севу. И вот за окном весна — не страшно... Не столько радостно от этого кусочка синего неба в форточке, от солнца, от искрящейся капли, сколько от ожидания — впереди сев, а сев — это новая победа.

«Вот и перезимовали... Весна! Хорошо!»

С крыши с шумом сорвалась подтаявшая туша снега, на миг закрыла солнечный свет в окне, где-то внизу тяжко упала, и звук такой, словно облёгчённо вздохнула при этом. Чёрт возьми! Даже это радует!

В дверь просунулась голова Ивана Самсоновича, помощника Павла, над морщинистым клинышком лба юношески игриво висит жиденькая чёлка седых волос.

— Павел Сергеевич, машина у крыльца.

— Хорошо, — ответил Павел и упруго вскочил на ноги, готовый ездить, ходить, не спать ночей, работать и работать, жить и жить без усталости.

## 2

Двери скотного распахнуты на обе створки. Яркий солнечный день. Сияют подсохшие брёвна стен, а провал дверей настолько чёрен, что кажется, сама ночь, съёжившись, уплотнившись, спряталась от света под крышу коровника, и воздух там, не в пример наружному, лёгкому, сдобренному свежей сыростью, должно быть, тяжёл, густ и вязок, как смола.

Из чёрной глубины на солнце одна за другой выходили коровы. Вместе с отощавшими, покрытыми клочковатой бурой шерстью (самая пора линьки) телами они выносили застойный запах навоза и парного молока.

Кончилось многодневное заточение. Тесные стойла, мятая солома под ногами, низкий, серой побелки потолок вверху, днём сумеречный свет через мутные оконца, ночью лампочки тусклого накала, слежавшееся, дурно пахнущее пылью сено — всё это позади. Впереди — сочная, смоченная росой трава, тень в густом ельнике, речки с тёплой водой, где можно стоять по брюхо и лениво отмахиваться от слепней...

Только самые первые шаги выходивших коров были одинаковы. Шлёпая клешнятыми ногами по талой земле, они делали шаг, другой и оставались, ослеплённые сверканием луж, ярким небом, оглушённые запахами, склонив головы, тупо глядели перед собой. Но через секунду каждая из коров по-своему выказывала свой характер. Одна так и стояла до тех пор, пока следующая корова не наталкивалась на неё, после чего делала два-три неуверенно-пьяных шага и снова застыла в недоумении. Другая, подняв голову, раздражалась прерывистым, рыдающим мычанием — и не понять, радуется она горячему солнцу, весеннему дню, свободе или это её тревожит. В третьей вдруг сказывалась непокорная кровь диких предков — хвост на спину и неуклюжим, взлягивающим галопом вперёд, подальше от тёмных дверей скотного. Вслед ей слышались крики скотниц:

— У-у, очумелая! Сдурела!

Только старая корова Барыня с загнутым на лоб рогом, виляя тощим выменем, прошла без задержки, остановилась у кучи снега и сразу же дремотно смежила седые жёсткие веки. Её не тронул ни пьянящий запах талого снега, ни обмытый льющимися с неба лучами сверкающий мир — тепло, и ладно... К ней на спину сразу же спустилась галка, повертела хвастливо головой, прыгнула раз, другой, принялась выклёвывать линяющую шерсть. Барыня не повела калеченным рогом.

Игнат Гмызин лишь молча протянул подошедшему Павлу руку и отвернулся, продолжая наблюдать. Ярмарочно-праздничный шум у скотного и славный день не трогали его, жиденькие — золотистый цыплячий пушок — брови насуплены, нижняя толстая губа презрительно выпячена, подбородок спрятан в расстёгнутый ворот ватника.

Павел спросил:

— Что сердит? Этаким пугалом стоишь.

— Веселиться нечего. Иль тебе картина эта нравится? — Игнат указал глазами на толкущееся стадо.

— Ну и что? Коровы коровами, как и всегда после зимы, шелудивые немного.

— Что шелудивые — не беда. Мне на них не парадные выезды делать. А ты укажи хоть одно хорошее вымя.

Павел окинул взглядом коров — мелковаты, брюхасты, узкокоствы в крестцах. У ближайшей вымя сжато в кулачок.

— Не породистый у нас скот. Верно.

— Я людей измучил на силосе. Не хвалясь скажу — сокровища накопил. А для кого старался? Для этих кошек. Они племя прожорливое, мастера добро на навоз переводить... Куд-ды, тварь слепая?! Хмель в дурную башку стукнул!

Одна из «прожорливого племени», молодая, пёстрая коровёнка, пронеслась мимо; если бы Игнат не отскочил, чего доброго, сбила бы с ног.

— Не знаешь, скоро кончат нас обещаниями угощать? — спросил Игнат, наблюдая, как неутихающим налётом удаляется корова. — Иль обещанного три года ждут?

— На неделе в области должно собраться совещание по животноводству. Скажут... Ты тоже там должен быть.

Игнат только хмыкнул неопределённо, оборвал разговор:

— Что ж, едем в Кудрявино?

Они направились в деревню.

Перед самой деревней — широкий пустырь. В позапрошлом году здесь росли крапива и репейник, кое-где торчали кусты можжевельника да берёзовые пни, обливавшиеся весной пузырящейся розовой пеной. Теперь среди не стаявших, обдутых сугробов поднимаются дощатые шатры, укрытые толем, самый пустырь походит на мрачный, покинутый цыганский табор. Под каждым шатром — яма. В них хранится силос разных сортов, разных качеств. Каждый сорт среди колхозников имел уже своё прозвище: силос из гороховой зелени — «медок», то есть сладкий; силос из подсолнуха — «соломат»<sup>1</sup>, то есть вкусен и сытен; силос из крапивы и веток был груб и звался «тюрька».

Игнат обернулся к Павлу.

— Вот ежели не разведу вместо теперешних навозных скотинок добрых коров, то со всем этим хозяйством, — Игнат обвёл рукой ямы, — буду смахивать на голодную мышь, которая уместилась на банке свиной тушёнки: под ней целое богатство, а попользоваться нельзя. На кой чёрт невесте наряды, коль рыло корчагой... А вот и Сашка, — перебил себя Игнат, взглядываясь в конец улицы. — Эге-гей! Сю-юда!.. Вьюн парень. Увернётся — потом ищи днём с огнём по углам.

Павел почти всю зиму не встречался с Сашей Комелевым. Бросалось в глаза не то, что тот раздался вширь, что старенький пиджачок (хотя и было по-весеннему холодновато) тесен в плечах, а бросались непонятные, неуловимые перемены в лице: черты его стали как-то твёрже, может быть потому, что чётче вырисовывались брови, иными стали и глаза — раньше чистые, прозрачные, они словно бы потемнели.

<sup>1</sup> Соломатом в северных областях называют овсяную или пшеничную кашу, обильно залитую маслом.

— Лошадей я уже запряг, — произнёс Саша неожиданным для Павла баском.

Он, верно, не в силах был просто спокойно итти рядом: нагнулся, схватил в горсть снегу, стиснул его в комок, швырнул в столб оградки, по лицу пробежала досада — не попал, поддел носком сапога старую колёсную втулку, отшвырнул, потянулся, сорвал с нависающего дерева голую веточку, размял в пальцах почку, понюхал... Чувствовалось, что для его тела самое тяжёлое наказание — перестать двигаться.

— Эким ты молодцом вымахал, — не удержался Павел.

Саша лишь смущённо отвернулся, походя потряс рукой кол изгороди — крепко ли держится. Зато вместо него расцвело до сих пор кислое и надутое лицо Игната.

— А чего ж, мужаем... — ответил он за Сашу не без самодовольства.

## 3

На плане, что висит в кабинете Павла Мансурова, там, где не тронутая тушью калька означает леса, кое-где можно увидеть кружок с надписью, вокруг него — штриховка полей; всё это соединено с остальным миром извилистой, тонкой, как ниточка, линией. Это починки, те деревни, о которых обычно говорят: «Кругом лес да дыра в небо». Ниточка, связывающая их с миром, — убогая просёлочная дорога, доступная лишь ноге пешехода, колесу телеги да гусенице трактора.

Каждый такой починок для районных руководителей — незаживающая болячка. Живут четыре десятка людей на отшибе, попробуй им доставить из МТС комбайны и тракторы, ломай голову над тем, как их укрупнить, к какому колхозу их присоединить.

Починок Кудрявино лежит как раз посередине между колхозами «Труженик» и «Светлый путь». От обоих он далёк. В тот год, когда началось укрупнение, Кудрявино присоединили к «Светлому пути», колхозу крепкому, со старым опытным председателем Федосием Мургиным.

Кудрявинцы были бесшабашный народ: весной не особенно торопились с севом, осенью — с уборкой, просили у государства кредиты, расходовали и не думали выплачивать. Оказавшись под крылышком Федосия Мургина, начали надоедать ему: «Федосий Савельич, хлебец вышел.. Федосий Савельич, нельзя ли авансик...», за что степенный и рассудительный Федосий Мургин возненавидел их тайной и лютой ненавистью и эту отброшенную в леса бригаду называл не иначе, как «автономная республика Кудрявино», тем самым намекая районному начальству, что оно не имеет сил подчинить кудрявинцев своей воле.

В деревнях Погребное, Сутолоково, Ивашкин Бор — оплот и ядро разросшегося ныне колхоза «Светлый путь» — не было обиднее клички, чем «кудрявый». «Кудрявый ты, брат, не иначе...» Тот, кому бросали такие слова, знал, что они отнюдь не похвала наружности, а просто его считают и бессовестным попрыщайкой, и последним на свете бездельником, и вообще ни к чему не пригодным человеком.

Павел Мансуров предложил передать Кудрявино колхозу «Труженик».

— Федосий стар и живёт по старинке, ему теперь дай бог управиться со своим колхозом без этого довеска. Ты ж вон как разворачиваешься. Хватит сил, вытянешь кудрявинцев, — говорил он Игнату.

От деревни Новое Раменье до починка через поскотины считалось километров пятнадцать. Но кто мерил эти километры лесных дорог?

Лошадь уже два часа старательно тащила розвальни по лесу. Полозя то скользили по грязи, то скрежетали по жёсткому снегу, то погружались в мутные лужи. Спасение, что санный полоз — не колесо: всюду пойдёт, нигде не застрянет...

Дорога становилась всё уже и уже, лес — выше, гуще, глуше. В одном месте обогнули бурелом — толстые стволы сосен лежали крест-накрест друг на друге, вскинув чёрные от сырости корневища. Ничто в лесу не может вызвать с такой силой впечатление дикости, как бурелом. — хаос, хранящий на себе следы неистовой силы. После него казалось странным, что они едут по проложенной людьми дороге. Невольно ждёшь — вот-вот оборвётся она, лошадь потащит розвальни через пни, кочки, трухлявые стволы упавших деревьев, по бездорожью и... кончится путь.

Но вот среди плотного леса показался голубой просвет, скрылся, показался другой, более широкий... Розвальни выехали на колею, заполненную вязкой грязью, кое-где, как щитом, покрытую толстой коркой унавоженного льда. Дорога пересекала поле озими. За полем — обычные деревенские крыши с выкинутой к небу неизменной берёзкой. Вот оно, Кудрявино!

Саше ещё ни разу не случалось бывать в лесных починках; подъезжая, он с любопытством взглядывался — должна же на чём-то лежать печать глухоты. Но дорога вела к привычной деревенской околице: осевшая за зиму изгородь, такие же осевшие ворота из жердей, распахнутые гостеприимно настежь, бревенчатые избы...

— Да у них электричество! — удивлённо воскликнул Саша.

Вглубь просторной деревенской улицы уходили жёлтые столбы.

— Федосий Мургин локомотив завёз, — пояснил Игнат. — Одну зиму свет был, потом случилась какая-то неисправность. Федосий к тому времени махнул рукой на кудрявинцев, кудрявинцы — на его локомотив... Столбы-то стоят, да и в избах лампочки есть...

Сам Игнат, хоть и не раз бывал здесь, сейчас глядел вокруг быстро бегающими глазами, на переносье легла напряжённая морщинка, — как-никак всё, что ни увидит, станет его хозяйством.

— Эх-хе-хе! — вздохнул он. — Косилка-то где перезимовала.

Председатель «Светлого пути» Федосий Мургин ещё не появлялся, но его ждали с минуты на минуту.

В бригадной избе, до укрупнения служившей колхозной конторой, приезжих встретил бригадир Савватий Копачёв, более известный по прозвищу Саввушка Вязунчик, маленький человечек с большой лобастой головой, сморщенным бритым лицом, прыгающими вверх-вниз бровями и живыми, беспокойными глазками. Павел не был знаком с ним, Игнату же частенько приходилось видеть Саввушку у себя. Не скрывая своего удивления, Игнат прямо спросил:

— Как же так случилось? Ты — и бригадир.

— Сам не пойму, — безунынным, по-детски тонким голосом ответил Саввушка. — Народ за меня горой стоит.

Игнат с сомнением покачал головой:

— Ишь ты... деятель.

Саввушка Вязунчик, от рождения слабосильный, не приспособленный к крестьянской работе, сам сознающий это, был одним из тех, кого обычно называют в деревне «зряшный мужик». Не только в колхозе, но и к своему хозяйству он не прикладывал рук. Приходила пора пахать усадьбу, садить картошку, а Саввушка ходит от соседа к соседу, просит сначала табачку на цыгарку, а затем...

— Дошечек у тебя, брат ты мой, не завалилось ли?.. На что? Да, чай, весна. Скворцы, слышь, прилетели, скворечник надо приладить.

И он целый день самозабвенно сколачивал скворечник, не обращая внимания на то, что старуха с высоты крыльца честит его на всю деревню:

— Полюбуйтесь, люди добрые! В доме луковицы заваливающей не отыщешь! Век-вековечный мучаюсь с непутёвым!.. Господи! Когда ты его приберёшь?

У Саввушки был сын, brave офицер, красавец парень, изредка приезжавший на побывку домой, сводивший с ума девчат щегольским, с золотом нашивок, мундиром. Саввушка им гордился, многозначительно наминал встречным и поперечным: «моё семья». На деньги, высылаемые сыном, и кормился он со старухой.

Никто в округе больше Саввушки не знал смешных побасёнок и страшных историй. В любом месте, где только сходились два, три человека, Саввушка начинал своим детским голоском рассказ.

И сейчас, ожидая приезда Федосия Мургина, он начал не без хвастовства:

— Не легко, видать, к нам добраться. Вы, Павел Сергеевич, примечаю, машинку-то свою оставили, на простых дровнях к нам подкатили. Лесные мы люди... Не слышали, какое лихо сюда загнало? Нет. То-то и оно. Мы, кудрявинцы, одного с тобой корня, Игнат Егорыч. Ты родом из Останова, мы — тоже. Лет так сто пятьдесят назад в Останове жила Фёкла, по уличному-то — Лешачиха. А почему Лешачиха — разговор особый. Здоровая была, страсть. Мужички-то наши на медведя один на один хаживали, она и их кулаком сшибала. Муженёк у неё был хлипкий. Она его понуждала бабьи работы делать: корову доить, тесто ставить, бельишко там простирать, а сама пахала, косила, новины жгла. Характеру угрюмого, живёт не по-людски, всё навыворот. Ну, народ-то по темноте своей коситься стал: не иначе ведьма, не иначе лешачиха, пакости ей, ребята! И пакостили: на клин коров напустят, бычку там ногу перешибут, дошло дело — колом лошадёнку ейную пришибли. Тут Фёкла-то и не стерпела, дозналась кто... А пришиб лошадёнку парень один, по селу первый ухарь... Так что вы, братцы мои, думаете! Средь бела дня Фёкла этого парня смяла, голову его промеж колен вставила да при всём народе, при девках-то штаны спустила, по голому заду и всыпала... Извёлся потом от этого парень-то. А Фёкла покидала на телегу своё добришко, на добришко мужика посадила, сама в оглобли впряглась да и в лес... Вслед плевались: «Лешачихе — лешачье место, живи, где хошь, сатанинское семя». Выбрала Фёкла местечко поглуше да поприглядней, с одного боку соснячок, с другого — берёзки, одна одной кудрявее...

Саша слушал с интересом, Павел — скучающе, Игнат боялся задержаться до вечера, нет-нет да и поглядывал в окно. Он первый и перебил Саввушку:

— Наконец-то! Прибыл Федосий.

Тучным животом вперёд, расставляя раскорячкой короткие ноги, на каждом шагу шумно отдуваясь, вошёл в избу председатель «Светлого пути» Мургин, протянул пухлую ладонь Павлу, затем Игнату, помедлив, протянул Саше, на Саввушку не повёл и бровью.

— Овраг за Коростельскими лужками залило, еле перебрались. В мои-то годы с кочки на кочку прыгать... — Он снял с головы кожаный картуз, вытер платком лоб и круглое лицо.

До укрупнения колхоз Мургина вызывал зависть у окружающих колхозников. В те годы не только коршуновские покупатели, но и на базаре областного города спрашивали хозяйки: «Из «Светлого пути» свинину не привезли?»

После укрупнения «Светлый путь» заметно осел. Прошло три года, а до прежнего уровня не дотянулись.

Сейчас Мургин, выставив живот, сидел с суровой важностью, только умные рыжеватые глазки сквозь узкие щёлки припухших век насторожённо бегали по лицам. Ведь как бы там ни было, а он не сумел сладить с кудрявинцами, приходится передавать их Гмызину. А кто этот Гмызин? В колхозных председателях всего четвёртый год. Федосий Савельич боялся, что секретарь райкома Мансуров намекнёт с ехидцей: «С твоей шен

груз... Благодарю человека, что освобождает». Легко ли такое выслушивать на старости лет?..

Но Павел лишь сказал:

— Пойдём по хозяйству, посмотрим. Ты, Савельич, всё расскажешь без утайки.

— Обрадовать не обрадую, а расскажу начистоту. — Мургин поднялся, кивнул небрежно Савватию. — Сбегай пока к Марфе Карповне, накажи, чтоб погода самовар сообразила. Люди целый день тут будут.

— Дело невеликое, перепоручить могу, — с важностью заметил Савватий. — А при осмотре-то хозяйства и моё слово не лишнее.

— Иди, иди, куда посылают. Сам покажу твоё хозяйство.

Савватий с явным сожалением расстался с гостями: народ они свежий, можно бы побеседовать.

— Не удивились вы случаем, что на бригадирстве Саввушка Вязунчик сидит? — отдуваясь после каждого шага, заговорил Мургин. — Ставил я, ставил своих бригадиров... Никиту Обозникова посадил сначала. Тот с месяц промучился, потом пришёл, шапку об пол брякнул: «Что хошь, мол, делай, сбегу от кудрявинцев. Самая уборка, а они все в лес по ягоды. С собаками ищи каждого!» Ведь подумать только, мужик с утра раннего под окнами сторожил, чтоб в лес не отпустить, — хитростью уходили... С Иваном Мишиным такая же штука. А на собраниях кудрявинцы кричат: «Не надо чужого! Из своих бригадира выберем...» Вот и выбрали этого шута горохового. Очень удобный для них человек... Здешний народ лесом попорчен... Не земля их кормит — лес! Ягоды собирают, продавать носят. Малинка-то рубль стаканчик, а этой малины возами вози отсюда. Дичину бьют, рыбу в озере ловят. При нужде и лося освежают... Закон далеко... Весь закон и вся власть тут — бригадир. Потому чужие и не приживаются... Потому и Саввушку выбрали: самый безобидный человек... Он и лошадей не откажет усадьбу вспахать, и малиной заниматься не запретит, и на работу не погонит — сам её не любит. Живут у этого Христа-Саввушки за пазушкой, а тот по своей глупости рад почёту. Должно, и вам хвалился: «Народ-де мне доверяет...» Вот, Игнат, слушай... Не для острастки говорю — для науки.

Земля задубенела от вечернего морозца, и лошади тяжелей было тащить сани. Приходилось больше идти пешком. Молчали. Наконец Павел спросил:

— Не жалеешь, что согласился?

Игнат нехотя ухмыльнулся.

— Иль думаешь, оглобли поверну?

— Пока-то ещё не поздно... Я, прямо скажу, хоть и посоветовал, да теперь сомневаться стал. Колхоз твой, как на дрожжах, растёт. Он, может, знаменем всего района будет, и вдруг такую гирию повесили...

— Не мне гирию, так Федосию; как ни кинь, кому-то вешать придётся...

— Только это и заставляет. Но невыгодны тебе кудрявинцы. Ой, намучаешься...

— Не из-за выгоды их беру. Людей жаль. Утонули в лесах, одичали, сами не вылезут. На Федосия — сам толковал — не велика надежда. Непрочно на ногах стоит, потянет кудрявинцев, сам, того гляди, в болото сползёт. Попробуем мы... Больше некому.

— Если так — святое дело. Спасибо скажем.

— Не на чем. В колхоз я не по шучьему веленью попал, меня послал райком. Приходится помнить, что посланец не чей-нибудь, а партийный. Межой свой колхоз от других отделять не собираюсь.

— Ну и всё ж как думаешь своротить лесовиков?

— Как? — переспросил Игнат. — Да очень просто. Хлеб с их полей — долой! Невыгодно. Часть полей отведу под луга, часть буду засеивать кор-

неплодами. Поставлю хороший скотный двор, силосных ям нарою, маслобойку оборудую и буду вывозить из Кудрявина масло. Выпасы у них большие, травы сколько угодно, силосу хоть на весь район заготовляй... — Игнат помолчал и добавил: — Это — дело дальнего прицела, а пока придётся просто тянуть их... Мне скот для развода нужен, племенной, породистый! — закончил он упрямо.

Павел рассмеялся.

— У тебя на каждую болячку одна и та же припарка. Даёшь скот — и шабаш!

Игнат не ответил, двумя широкими шагами он нагнал сани, завалился на них.

— Садись! Здесь уклон — лошади полегче...

Мансуров и Саша привалились к нему.

Скрипели оглобли, шуршали полозья, молчал затянутый сумерками лес.

## 4

Саша временами смутно чувствовал, что жизнь напористо наступает на него, не даёт опомниться. Каждый день приносил новое.

Недавно казалось, что нет скучнее на свете случайно прочитанной в газете фразы: «Такой-то колхоз перевыполнил план силосования...» Бесцветные, серые слова, они не оставляли следа в душе.

Но проходили дни, и он с ревностью, со страстью искал в газете: засилосовали? А как? Почему мало сказано? Три строчки написали, словно огрызнулись...

Новое приходило вместе с беспокойством, вместе с заботами.

Колхоз косит, колхоз запасает сено. В эти дни каждый с опаской смотрит на небо: а вдруг да грянет дождь, погниёт трава, чем кормить скот зимой? Хорошо, если будет солома, а как и той не хватит? Прирежай тогда коров, пока сами не сдохли. Под богом ходим.

К осени на скошенных лугах подрастает густая отава — добрая трава, коси по второму разу. Плохо ли снять сена вдвойне! Скосить-то можно, но как высушить? Осеннее солнце не горячее, дожди перепадают часто. Коси не коси, всё равно сгниёт — пропадёт добро, что ж делать? Под богом ходим!

На Роговском болоте вокруг ляг и бочажков несчитанные гектары осоки. Не ходит туда скот, не ест её — жестка, края листьев, что бритва, режут в кровь язык, дёсны, губы. Никчёмная трава. А велика ли польза в дремучих зарослях крапивы за Раменским полем? Многие считают — возмущаться нечем, мало ли растёт и плодится бесполезного на свете, на то божья воля.

Но всё это так кажется до времени, пока не узнаешь, пока не раскроют тебе глаза.

Скоси отаву, засыпь в яму, притопчи поплотней, закупори покрепче — немудрёное дело. Не надо высматривать да выжидать солнца; дожди, сырость, утренние заморозки — ничто не помеха. А в конце зимы вынимай эту перебродившую, пахнущую хлебным квасом отаву, разноси по кормушкам — будут есть коровы да облизываться. Осока, крапива — даже их можно перегнать на молоко и мясо...

Тридцать семь ям силосу заложил Игнат Егорович. В каждой яме от тридцати до сорока тонн. Подсчитай, лежат в земле сокровища, копилка колхозного богатства на пустыре!

Сотни тысяч рублей в банке, новые подвесные дороги на скотном, чтобы не на руках таскать навоз, велосипеды у ребят, шёлковые платья у девчат, крыши, крытые железом, музыка из радиоприёмников — вот что такое силос! На красивой земле — красивая жизнь, отцовская мечта! Саше ли быть к этому равнодушным...

Попрежнему Игнат Егорович считал законом каждый свободный вечер вместе с Сашей проводить над учебниками. Книжную премудрость Саша схватывал быстрее Игната. Но если Саша просто запоминал, верил всему, что ни прочитает, без оговорок, то Игнат часто ворчливо спорил с учебниками:

— Что пишут? Башня для силоса дешевле ямы. А утеплять башню, а ремонтировать её?.. Клёпка каждый год будет расползаться по швам. Такие ремонты встанут в копеечку...

И он сразу выкладывал кучу житейских примеров, после чего и у Саши пропадало доверие к прочитанному.

Заботы и беспокойства были у них общими, мечтали они вместе, вместе учились, вместе работали, и новое для Саши открывалось через Игната Егоровича.

С Катей Саша помирился вскоре же после возвращения из города.

Катя стала приглашать Сашу в гости. Вместе с дедом, бывшим сашиным учителем Аркадием Максимовичем, пили чай. Катя, сменив костюм на фланелевый халатик, с гладко забранными волосами, румяная, довольная новой для неё ролью гостеприимной хозяйки, угощала напористо:

— Саша! Ты что, как красна девица, сидишь? Вот варенье, вот слойки! Не заставляй кланяться.

После чая Аркадий Максимович любил посумерничать и пофилософствовать на какие-нибудь очень высокие темы — о вселенной, о человеческом уме, о будущем...

— Бесконечность окружающего мира меня не гнетёт. Напротив! В этой бесконечности я вижу бесконечные возможности для применения человеческих сил. Да, да, друзья! В мире есть только один бог — человек!

На столе смутно поблёскивали неприбранные чашки. Глуховатый голос старика будил какую-то приятно щемящую мечту о чём-то огромном, недоступном. Катя, забравшись с ногами на громоздкий старый диван, глядела задумчиво кота Фомку, лежебоку, упрятого в густую шубу, с презрительно-недоверчивыми круглыми глазами. Саша, не поворачивая головы, ощущал взгляд Кати. Уютно и покойно чувствовал он себя в этой маленькой семье.

Такие посещения дали повод считать всем Сашу и Катю посватанными. Свою мать Саша нет-нет да и заставлял в слезах. «Я так, родненький, так... Только ты не бросай мать-то, легко ль без твоей-то помощи нам будет...» — невнятно объясняла она. Последнее время она усидчиво вязала пуховую шаль — уж не подарок ли будущей невестке?

В колхозе же подарила Сашу своим вниманием одна из развесёлых раменских девчат, Настя Баклушина.

Среди своих подруг, отличавшихся дородностью и здоровьем, она, невысокая, худенькая, с бледным, не загорающим на солнце лицом, казалась на первый взгляд неприметной. Но все знали, что Пётр Дёмин, нынче флотский офицер, завидный кавалер (фуражка с белым верхом, китель в обтяжку, морской кортик у пояса), шлёт сердитые письма Насте, обещает жениться. Знали, что Настя не особенно-то сохнет по нём, крутит голову и секретарю сельсовета Мите Голикову, и Перхуну Фёдору, агроному МТС, и шофёру Никите Шуренкову. Из леспромхоза к ней на разговоры ездит за двадцать километров какой-то десятник, уже в годах, кто знает, может, и семейный. За всё это дородные, пышнотелые раменские девчата тайно ненавидели Настю.

При всей почти детской нескладности настиной фигуры бросались в глаза налитые зрелой тяжестью груди и на худощавом лице — сочные, яркие губы с каким-то мягким и жадным выступом на верхней.

Настя с самых первых дней стала дразнить Сашу. Это она кричала ему на сенокосе:



— Саша! Солнышко! Иди к нам в копёшки! Охотка поиграть со свеженьким!

Потом Саша привык к таким окликам, научился даже отвечать на них. Настя на время оставила его в покое.

И вот теперь какой-то чёрт снова толкнул её к Саше. Увидит в конторе — не стесняясь, проталкивается к нему:

— Куда спешишь? Поглядеть на себя не даёшь. Поди сюда, миленький, посидим рядком, поговорим ладком.

Какой-нибудь бородатый правленец при этом советовал Саше:

— Мотри, парень... Подальше от неё — укусит. Девка с бесинкой.

## 5

В области малый прирост скота, в области низкие удои, в пяти районах из-за летних дождей бескормица, зимой пришлось прирезать скот. В области тяжёлое положение с животноводством.

В городском театре по этому вопросу собиралось совещание передовиков.

Нарядное фойе с высокими потолками, с переливающимися люстрами в этот вечер выглядит менее празднично. Будничны лица гардеробщицы, не мелькают распорядители с пачками программ, буднична и публика. Яркий электрический свет с потолка освещает косоворотки, гимнастёрки, яловые сапоги рядом с вытуженными костюмами. Много мужчин и мало женщин. Люди большей частью собираются кучками, курят, разговаривают, а не ходят попарно.

На стенах под самым потолком висят портреты великих композиторов: Лист, Бетховен, Моцарт, Глинка, Чайковский... И странно под сенью этих корифеев искусства слышать озабоченные, житейские слова: выпасы, надои, молодняк, силос, концентраты...

За последнее время Павел Мансуров полюбил такие совещания в области. В безукоризненном костюме, курчавая голова вскинута, на широком смуглом лице готовность любого встретить открытой, дружеской улыбкой, он мягкой, неспешной походкой ходил по фойе, кивал знакомым, заводил разговоры. На него оглядывались, за его спиной шептались:

— Из Коршунова?

— Тот самый.

— На вид молод...

Обкомовские работники, обычно в такие дни все до единого заняты по горло, озабоченно снующие через фойе и зрительный зал на сцену, находили минутку, останавливались, чтобы переброситься парой слов с Мансуровым.

Секретари райкомов из больших промышленных районов, таких, как Сумковский, Ключаевский, Глазновский, люди пожилые, знающие себе цену, ещё недавно не ведавшие о существовании Павла Мансурова, встречали его сейчас дружески — равные равного.

Секретари из районов более удалённых, менее заметных отыскивали Павла в толпе, осторожно придерживая за рукав, отводили в уголок, советовались, жаловались. Для них он был уже старшим.

Коршуновцы собрались отдельной кучкой: Игнат Гмызин; Федосий Мургин, недавно вышедший из буфета, где до краёв налился пивом, отчего широкое лицо его расцвело влажным свекольным румянцем; Огарышев — зоотехник колхоза «Первая пятилетка»; председатель этого колхоза Пятерский, сухощавый человек с аскетическим лицом, к которому вовсе не подходил нерешительный и мягкий взгляд голубых глаз; доярка Распопова со старым, ещё довоенным орденом Ленина.

Только что выступил с докладом председатель облизполкома Чернышёв. Он сообщил: в область прибывают большие партии племенного скота.

Раньше такой скот приходил лишь маленькими партиями и распределялся механически. В областном отделе сельского хозяйства раскидывали по районам: столько-то голов туда, столько-то сюда, хотите или нет принимать, раз назначено — получите, никаких возражений, никаких отговорок на бескормицу! В этом году брать или не брать должны решать районные руководители, они сами обязаны рассчитывать силы своих колхозов.

Федосий Мургин, собрав под подбородком толстую складку, рассматривая на своём обширном животе пуговицы, говорил с привычным ему недовольством:

— Знаем мы этот скот. В позапрошлом году прислали мне трёх холмогорок. Коровы — без всяких бумаг видно — породистые из породистых, спины, что полати, вымя у каждой мешком висит. Только я наплакался с ними. Подавай им, видишь ли, заливные выпасы. Плохую траву жрать не желают, рыла воротят. А где у меня заливные, когда кругом в суходолах сижу, как свиной ошкварок на сковородке... А ведь скот-то этот даром не дают, денежки за него плати, и немалые...

Зоотехник Огарышев обиженно возражал:

— Рано или поздно, всё равно нам придётся менять своих дохлых коровёнок на продуктивных. Тут такой случай — бери! Отворачиваться прикажешь?

— Дохлые коровёнки, это верно, — не смущаясь, соглашался Мургин. — Только почему они дохлые?.. Кормим плохо! С такими кормами наши ещё выдюжат, а племенные загнутся, не жди от них ни молока, ни приплоду настоящего. Забываешь, милоч, поговорочку: у коровы-то молоко на языке.

Игнат Гмызин молчал, но по тому, как с сосредоточенным видом поглаживал бритую голову, было видно — он уже прикидывает в уме, сколько голов взять, где разместить. Его-то меньше всего трогали сомнения Мургина.

Павел Мансуров понимающе поглядывал на Игната: «Хозяйская башка... Вот как попал в точку! Не зря копил запасы силоса... Этот, не боясь, отхватит себе племенных коров, этот создаст стадо!»

— Павел Сергеевич! Здравствуйте, голубчик... — Перед Павлом оставился секретарь райкома из соседнего Шумаковского района, невысокий живчик, с квадратной, в ладошку, лысиной на макушке. Он подхватил Павла, потащил в сторону, сразу на ходу выговаривая:

— Слышали, о чём Курганов собирается выступить?

Шумаковский секретарь имел одну удивительную способность: какими-то неизвестными путями на пять минут раньше других узнавать во всех подробностях обкомовские новости. И уж эти новости он не держал при себе.

— Он скажет (тут подразумевался первый секретарь обкома Курганов), что работа районных руководителей будет измеряться тем, сколько район возьмёт на свои плечи племенного скота. Много возьмёшь — хороший работник, значит у тебя в районе есть корм, есть где скот поставить. Мало возьмёшь — так на тебя и будут глядеть. Областным-то хочется как можно больше в свою область упрятать сейчас этого скота. Шутка ли — сразу поднимется поголовье. И не рассчитывай на мясопоставки, особо-то не дадут списывать старых коров. Цифра, цифра нужна! А эти цифры вот кому на шею сядут — нам! — Шумаковский секретарь похлопал себя по короткому загривку. — Я лэзть наобум не буду, не-ет. Пусть, как хотят, так и смотрят, хоть косо, хоть прямо в лоб смотрите. У меня сейчас в редком колхозе клочок сена отыщешь. Ждём не дождёмся, когда зелёная травка, спасительница наша, выглянет. А за надёж племенного скота, ой, как спросят! Ну, извините, бегу к своим. Потолковать надо. В таких вопросах решать одному боязно. А решать надо, торопят...

Шумаковский секретарь отбежал от Павла, по дороге столкнулся с высоким седым мужчиной в полувоенной форме, подхватил его под руку и начал ему горячо рассказывать, должно быть, то же самое. Мужчина с терпеливым снисхождением слушал шумаковца.

Павел знал этого седого человека с простоватым лицом рабочего, с прямыми, широкими плечами, со щеголеватой подобранностью офицера запаса. Он секретарь Ключаевского райкома партии Звонцов. Видя, как шумаковец, суетясь, выкладывает ему, Павел усмехнулся: «Тоже мне, чижик соколу на беду сует. Звонцову ли беспокоиться?.. Да у него в районе целое созвездие колхозов первой величины — украшение всей области. Не только в кормах, но и в самом племенном скоте особо не нуждаются. Его-то не тронут слова Курганова...»

Высокий Звонцов с мягкой настойчивостью освободился от прилипшего к нему шумаковца, кивнул головой и зашагал прочь. Павел Мансуров с уважением и завистью проводил взглядом прямую, широкую спину, обтянутую зелёным кителем: «Ничего, поживём — увидим: кто над кем поднимется. Не боги горшки обжигают...»

Павел вернулся к своим.

— Хватит споров, — произнёс он. — Скоро начнутся прения. Мне выступать. Надо сейчас обо всём договориться...

Их небольшое совещание оборвал звонок.

Плохо ли отхватить богатый куш, одним разом выправить положение с животноводством, — соблазн велик, но в районе не везде хорошо с кормами, скотные дворы не подготовлены к приёму племенных коров, да и кадры животноводческие слабы. Нет, больших обещаний давать нельзя.

Павел уселся на своё место с твёрдым решением — не зарываться.

Выступал шумаковский секретарь. Он говорил, что прибывающий в таком количестве скот — событие в области, оно, возможно, сделает революцию в экономике, но, тем не менее, к приёму скота надо подходить осторожно, вдумчиво...

Из президиума секретарь обкома Курганов бросил короткую, сухую реплику:

— Не потому ли за вдумчивость ратуете, что в прошлом году сено погнило?

— И это приходится учитывать, Алексей Владимирович, — отозвался шумаковец.

— Учитывать, чтобы впредь сено гнить?

Шумаковский секретарь замаялся, а зал зашелестел недоброжелательным к нему смешком. Вместе со всеми осуждающе смеялся и Павел Мансуров. Шишковатый лоб шумаковца под ярким электрическим светом блестит от пота, сам он весь как-то съёжился на трибуне, спешит, комкает фразы:

— ...Перебросить в нашу область тысячи голов племенного скота! Такие решительные меры говорят о мощи нашего социалистического хозяйства!..

— Конкретно о районе! — подкидывает опять Курганов.

— Наш район, — с готовностью подхватывает шумаковец, — не может не откликнуться... Мы приложим все силы...

— Конкретно!

— Должны признаться, что мы ещё в недостаточной степени... — галлопом продолжает шумаковский секретарь, обливаясь потом.

Докладчик кончил, суетливо сгрёб бумаги, сбежал с трибуны и исчез, растворился...

Председательствующий объявил:

— Слово предоставляется секретарю Коршуновского райкома партии товарищу Мансурову!

Павел поднялся и по узкому проходу, устланному мягкой ковровой дорожкой, пошёл своим лёгким, напористым шагом к трибуне. В одном из рядов крайний к проходу человек в овчинной душегрейке, с костистым волевым лицом, то ли колхозный председатель, то ли низовой зоотехник, повернувшись к соседу, произнёс:

— А ну-ка, ну-ка, на что этот решится?

Павел слышал эти слова.

Из-за стола президиума встречал Павла подбадривающей улыбкой Курганов. Весь вид его — вскинутая голова, прямой приветливый взгляд — выражал уверенное ожидание: этот скажет, не подведёт, ещё и удивить может.

И Павел почувствовал, что твёрдое решение — не зарываться, не обещать ничего — он не сумел донести целиком до трибуны. На секунду он растерялся, молчал, собираясь с мыслями, глядел в зал. А из освещённой глубины зала, мельчась, утопая в ней, усталились сотни лиц, напряжённо глядящих в упор.

Тишина своей насторожённой властно требовала: говори, слушаем, чем удивишь? И в этой тишине, в терпении людей чувствуется уважение. Сами того не желая, люди как бы приказывают ему говорить то, против чего минуту назад Павла предостерегал здравый смысл. Нет сил им не подчиниться, вызвать разочарование — невозможно!

Павел со спокойным достоинством бросил привычное:

— Товарищи!

Не спеша заговорил о том же, что и шумаковский секретарь: сегодняшнее совещание обязано разрешить один из самых больных вопросов — племенной скот облагородит местные породы, подымет продуктивность...

Он говорил и со страхом отмечал про себя: напряжение в зале падает, тишина, вначале чистая, прозрачная, словно замутилась сейчас. Слышалось шевеление в рядах, осторожное покашливание. И казалось, что вот-вот из-за стола президиума, от секретаря обкома, донесётся требовательное: «А конкретно!»

Павел вдруг почувствовал отвращение к своему бесцветному, вялому голосу. Нет, он не шумаковский секретарь, он Мансуров!

Резко, как от удара, он распрямился, вскинул голову, облитый светом театральных рефлекторов, юношески подобранный, смуглый, широкоскулое лицо как бы вспыхнуло решительностью, голос стал звучным, упругим, властным:

— Мы сидим в болоте и мечтаем, как бы взобраться на гору! Нам пришли на помощь, нам спустили лестницу, а мы мнёмся, раздумываем — ступить на неё или не ступить? Мы боимся, что сорвёмся. Из-за этой боязни чуть ли не готовы отказаться от своего спасения!

Зал снова зашумел, но как отличен был этот новый шум от прежнего равнодушного шороха и покашливания. Бесконечные ряды утопающих в полутьме лиц, кажется, приближались, стягивались на горячие слова Павла Мансурова.

А Павел чем больше говорил, тем отчётливее понимал — произнести незначительные цифры ему нельзя.

Он назвал цифру — пятьсот голов, и зал доброжелательно прошумел аплодисментами.

После заседания около театрального гардероба нет чинного порядка — толкучка, все торопятся. Многих ждут машины, на ночь глядя надо ехать километров пятьдесят, шестьдесят в свои районы. Рослый мужчина в бараньей душегрейке набрал целую охапку пальто и плащей, протискивался в угол:

— Налетай! Могу продать вместе с хозяевами!

В этой толкучке к Павлу, уже надевшему свой плащ, подошёл Курганов. Был он невысок, держался прямо, движения живые и резкие. Он крепко пожал Павлу руку, заговорил:

— Хватил — не постеснялся. Смело действуешь. Что ж, на широкие плечи и тяжёлый куль. Но будем требовать, чтоб весь скот прижился. Ни одной твоей жалобы, ни единой слезинки не примем во внимание. Помни!

Тон был полушутливый, голос бодрый, но Павел уловил в словах секретаря обкома жестковатое предупреждение и понял, что отступить от своих слов ему не дадут.

Он ответил так же полушутливо и бодро:

— Не обещаю, Алексей Владимирович, может, и придётся в чём-нибудь поплакать в жилетку.

Федосий Мургин слышал этот разговор и, после того как Курганов отошёл, проворчал, пряча недружелюбный взгляд от Павла:

— Кому плакать, так это нашему брату...

Павел оборвал его холодно, едва сдерживая раздражение:

— Только уволь, раньше времени не плачь... Почему Гмызин не собирается плакать, а ведь у тебя стаж колхозного руководителя побольше, чем у него!

Стоявший в стороне, уже одетый, Игнат Егорович промолчал.

## 6

Выписывая петли по лугам, течёт речка Шора. Летом она вся, как в шубный рукав, упрятана в густые кусты ивняка.

На протяжении всего года тиха. Редко-редко её ленивая тёмная вода своеобразно звенит на каменистых перекатах, больше отдыхает в затянутых кувшиночными листьями сонных омутах. И только весной неожиданно свирепеет скромница. В узких берегах, утыканных лозняком, тесно, ей нужен размах. Луга — вот где раздолье! Дороги, кусты, пни после вырубki — всё остаётся под водой. Дня три несёт Шора на своей мутной спине вперемешку с заматерелым, не желающим таять льдом коряжистые выворотни, прокопчённые брёвна, сорванные с какой-то чёрной баньки, иной раз часть сруба — два-три намертво сбитых венца.

Дня три, от силы пять, разгула, и... спадает вода. Незаметно уходит Шора в свои прежние берега. Только разбросанные по кустам грязные глыбы льда да какой-нибудь ствол сосны с перекалеченными ветвями, с истерзанной корой, выпирающий из ивняка, напоминают о былой удали.

Снова Шора, как благоданная дочь на выданьи, тиха и скромна, снова ленива её вода.

После разлива остаются на лугах бесчисленные озёрца, глубокие и мелкие, широкие и длинные, лишь по цвету одинаковые, синие-синие, словно само небо, разбившись на осколки, раскидано по земле, убого покрытой вымокшими остатками прошлогодней травы.

Солнце быстро прогревает эти озёрца, и в них сразу начинается жизнь. Длинноногие водомерки бестолково, лишь бы быстрее, бегают по гладкому зеркалу воды, юркими зигзагами плавают лакированные чёрные плавунцы. А у берега уже выставила свою пучеглазую морду оттаившая лягушка.

Поражают своей смыслённостью большие пауки. Они выпускают в воздух длинную нить паутины, ветер подхватывает её. И, как под парусом, из одного конца озёрца в другой несётся паук на растопыренных лапах. Вода, словно от крошечного глоссера, расходится игрушечной волной по сторонам.

С берега паутина совсем не заметна, окоченевший в неподвижности и в то же время скользкий по воде паук кажется чудом.

Катя долго недоумевала, пока Саша не поймал такого паука и не обнаружил паутинку.

Густая синева неба, всасывающая в себя плавающих вровень с солнцем птиц, яростный блеск воды, стеклянный трепет нагретого воздуха, запах прели, запах земли, чего-то тинисто-лягушечьего, живого, мокрого, весеннего — всё это опьянило Катю.

Они сидели на выдутом, сухом пригорке. Катя, подобрав ноги, в светлом платье, облитая режущим глаза солнцем, чуточку расслабленная: плечи безвольно опущены, наклон шеи переходит в ленивый изгиб спины, но глаза, глядящие в землю, нетерпеливо бегают, тревожат веки. Вся она в одно время и млеющая и беспокойно ждущая чего-то...

Саша в последнее время стал замечать — оставаясь с глазу на глаз с Катей, чувствует неловкость, между ними исчезает простота, появляется натянутость.

Вот и сейчас сидит она перед ним, необычно красивая, взволнованная, ждёт от него необыкновенных слов. И он ведь знает эти слова, он собирается их давно сказать, но трудно начать!.. Если б Катя не волновалась, легче решиться...

— С тобой никогда не случалось такого?.. — начинает Саша издалека.

Катя поднимает ресницы, глядит с немим вопросом: «Чего — такого?..»

— ...Вот вроде ничего особенного нет, а чувствуешь, что западает на всю жизнь в память минута... Заранее чувствуешь...

Немой вопрос не исчезает с лица Кати: «Не понимаю...»

— Я вот сижу сейчас и точно знаю — этот день запомню: и пауков этих и вон ту берёзку... Гляди — воздух поднимается от земли, сквозь него берёзка видна, поёживается словно... Ничего особенного, не событие, а, пока буду жив, не забуду этой берёзки. Что-то сейчас есть кругом. Ты не чувствуешь?

Саша видит: Катя начала понимать, но хитра, делает вид — ничего не ждёт, обычный разговор, глядит в сторону, глаза скучноватые, только на щеках под прозрачной кожей лёгкий, мягкий румянец.

— И сейчас, в эту минуту, нравишься ты мне по-особому... Нравится, как ты оперлась рукой о землю, как плечо твоё поднялось, лицо твоё, руки твои, колени... (Катя поспешно прикрыла высунувшееся из-под платья крепкое колено.) Как глядишь на меня, как слушаешь — всё нравится. Захлестнёт вот такое — солнце темнеет... Фу! Кажется глупостей наговорил...

Саша отвернулся, насупился. Катя легко поднялась, под села ближе, взяла его руку и, стараясь заглянуть в опущенное лицо, сказала тихо и удивлённо:

— Какой ты, однако... То о силосе толкуешь... И вдруг чёрт проснётся.

— Катя!.. Я давно хочу сказать, и ты знаешь о чём...

— О чём?..

— Знаешь! Хочу, чтоб была моей женой! Пора говорить об этом!

Он сказал резко, сердито, почти грубо. Катя не вздрогнула, не удивилась, а снова задумалась, глядя остановившимся взглядом на воду озера. Гладь воды пересекла наискось крутой хребтиной шука. Она пленница, сотни метров нагретого солнцем луга отделяют её теперь от родной реки. День ото дня, час от часу будет сохнуть озеро, пока не превратится в тесную лужу. Прибегут из села ребятишки, взмутят и без того застойную воду... Долго будет бороться шука, ловкая, быстрая, сильная, станет метаться между ребячьих голых ног, между жадно протянутых рук, а выхода нет, конец один... С торжеством внесут её в село на ивовом пруту, продетом сквозь жабры, и выпученные тусклые глаза со слепым равнодушием будут глядеть на солнце.

Катя наконец подняла глаза и внимательно, долго разглядывала Сашу — выгоревшие волосы, чистый лоб, упрямые губы, тонкую шею, торчащую из помятого воротника рубашки...

— Муж... — произнесла она удивлённо. — Неужели ты — судьба моя?.. Каждая девчонка много думает о муже. Что скрывать, и я думала... И как глупо... Представлялся — высокий, красивый, плечистый, сильный, печальный, непонятный и, главное, таинственный. Сказка перед сном! Где он живёт, какие подвиги совершает, где пересекутся наши пути?.. И вот, не Иван-царевич, а просто Саша Комелев... Муж... Александр Степанович...

— Что разглядывать?.. Иль раньше не нагладелась?

— Раньше Сашку видела, теперь — другое.

Саша вскочил:

— Да ну тебя!

Он потоптался, пряча лицо. Катя, чувствуя свою силу и своё превосходство, следила тёплыми, улыбающимися глазами, уверенная, что не обидится, никуда не уйдёт от неё.

— Пошли!

Не дожидаясь, когда она поднимется, Саша повернулся, неровной походкой, словно кто толкал в спину, зашагал. Катя, не сводя улыбающихся глаз с его спины, гибко поднялась, распрямилась во весь рост, с разгоревшимся лицом, солнечная, светлая, постояла и сорвалась, лёгкими, летящими шажочками нагнала Сашу, обняла за шею...

Как дети, взявшись за руки, они шли по рыжему весеннему лугу, застенчиво прятали друг от друга лица...

Разнеженная теплом, пахнущая влагой, украшенная синими озёрами, тяжёлыми тёмными ельниками, обкуренными зелёной дымкой воздушными берёзовыми лесами, отдыхала земля под нарядным, ярким небом.

Разбросав на солнцепёке тёмные домишки, сушилось после благодатной весенней сырости село Коршуново. Оно на этой земле, под этим небом занимает неприметное место, но и в нём, как и всюду, бывает простое и необычное, негромкое и великое человеческое счастье!

Саша поздно вернулся из Коршунова в колхоз.

Весной улицы деревни Новое Раменье долго не просыхают от грязи. Пройти от дома к дому можно только по узкой обочине, цепляясь руками за плетень. И вот на такой обочине, когда обе руки заняты, а ноги не могут найти устойчивую опору, Саша столкнулся со встречным.

— Кто тут? Кому из нас давать задний ход? — весело окликнул Саша и узнал Настю Баклушину.

Она, плотно прижимаясь узким телом к плетню, сделала шаг-другой вперёд, выдвинулась из тени, наискось покрывавшей улицу с круто размешанной грязью; её продолговатое, с нежным овалом маленького подбородка лицо оказалось рядом. Саше был ясно виден пухлый, жадный выступ на верхней губе.

— Вот и встретился, милёночек, на тёмной дорожке. Давно такой встречи ждала, — вполшёпота произнесла Настя, приваливаясь грудью к плетню, не собираясь ни отступить, ни итти дальше. — Что ж смотришь по сторонам? Всё ещё меня пугаешься?.. Беги, не держу, беги! Не бойсь, собачкой догонять не стану.

Сегодня у Саши был счастливый день, мир казался красивым, люди добрыми, к каждому, кто попадался на глаза, хотелось подойти, сказать приятное, поблагодарить за то, что он, такой славный, живёт на свете... Невольную, необъяснимую вину почувствовал он сейчас перед Настей.

— Обижась за что-то. Зря, Настя, — сказал он мягко. — Я о тебе плохо не думаю и худого тебе не хочу...

— Худо́го не хочешь?.. Мало мне этого, Сашенька. Ты мне хорошего пожелай... Ты взглядишь в меня — не урод, не порченная... — Она придвинулась ещё ближе, уперлась в него плечом. — Чего отворачиваешься? Иль я зарок возьму, иль свяжу тебя?..

От обжигающего дыхания, от близости её губ начали путаться мысли.

— Настя, — произнёс он хрипавато, — не приставай... Зря это...

— Знаю, коршуновская цыганочка тебя привязала. Да и то... Я девка колхозная, она образованная, с докладами выступает, ручки только чернилами пачкает...

— Пусти-ка лучше.

— Нет, ты пусти. Сдай, сдай! Не бойся ножки промочить.

И Саша отступил, пропустил Настю.

Она, уже скрывшись в темноте, крикнула в спину:

— Всё одно покою не дам! Я упрямая! Дождусь своего!

Саша только сердито передёрнул плечами.

## 7

Катя изредка навещала жену Павла Мансурова, свою бывшую учительницу, Анну Егоровну, теперь просто подругу.

Разбросав по коленям сиреневый шёлк, Анна орудовала иглой, подняв на вошедшую Катю глаза, перекусила нитку, поздоровалась, сообщила:

— Вот вчера платье купила — подгоняю.

Катя под села, стала разбираться.

— Плечи японкой... Юбка трёхклинка — простовата...

— По мне и это хорошо. Отошло моё время модничать... Живём, а зеркала хорошего приобрести не можем. Не знаю, как и сидит... Катя, надень ты, посмотрю со стороны.

— Да оно мне будет узковато...

Однако Катя взяла платье, стала расправлять. Анна разглядывала её с внимательной грустью — от подёрнутых загаром ног в босоножках до густых волос, выбившихся тёмным мягким пухом у маленьких ушей.

— Узковато будет... Сейчас, Аннушка, я в другую комнату выскочу.

Но Анна остановила:

— Не надо.

— Почему?

— Не хочу... Платье разонравится.

— Да почему же?

Анна с улыбкой вздохнула.

— Недогадлива ты... Ведь мы все завистливы на красоту. Ты красавица, а я и в молодости-то не была такой, а теперь и подавно.

Катя разругалась от удовольствия.

— Ничего ты так не увидишь. На мне всё же видней...

Анна с неохотой выпустила платье из рук.

Катя, несмотря на свой возраст, в плечах и в спине была шире Анны. Платье действительно казалось узковатым, только в талии не морщилось, гладко облегало, подчёркивая упругость бёдер.

Анна с горечью опустила руки.

— Так и знала... Хоть не снимай. Мне теперь на себя в этом платье взглянуть тошно.

Она, угловатая, с тонкими руками, излишне длинной шеей, узкоплечая и узкогрудая, с печальной завистью смотрела, как поворачивается перед ней, косясь одним глазом на зеркало, Катя: высокая, стройная, сиреневый шёлк оттеняет нежную смуглоту тонкой кожи на руках, с лица не сходит счастливый румянец — кому не лестно чувствовать себя красивой.



— Аннушка...— Катя ласково обняла Анну, усадила её на диван, осторожно, чтоб не смять юбку, опустилась сама.— Замуж я выхожу...

— За Комелева?.. За Сашу?

Катя смущённо кивнула головой.

— Он моложе тебя?

— Всего на год. Разве это — препятствие?

— Он мальчик. Ты не по годам взрослой выглядишь.

— Аннушка, не надо, молчи. Ничего слышать не хочу.

— Нет, что ты! Не отговариваю тебя... Только помни об одном: в таком деле самая мелкая, самая незаметная ошибка вырастает в бесконечные мучения... Впрочем, всех нас предупреждали опытные люди, и никто их не слушал. Бесплезное я говорю, забудь всё. Полюбился — выходи.

Катя, слушая Анну, притихла, наблюдала за ней; когда та замолчала, спросила осторожно:

— Что случилось, Аннушка?

Анна опустила голову, пожала плечами:

— Кто знает... Приходит с работы, если слово скажет, то по крайней мере: «Поесть дай. Готов ли чай?..» Что случилось? Неизвестно. То и страшно, Катя...

Катя слушала и испытывала обычную неловкость, когда счастливому человеку приходится сочувствовать горю. Надо что-то сказать, как-то подбодрить, а слов нет.

В это самое время во дворе хлопнула калитка, на крыльце раздались шаги.

— Павел... Лёгко на помине.— Анна со вздохом поднялась с дивана.

Он вошёл со своей обычной напористостью — волосы спутаны, ворот на красивой шее распахнут, глаза сухо блестят. Узнал Катю, и суровое лицо подобрело.

— Эге! У нас гости... Здравствуйте.

Катю пугал этот непонятный для неё стремительный человек. Она сразу же вспомнила, что на ней чужое платье, в плечах и груди стянутое нелепыми складками, засмушалась. Скрываясь за перегородку в соседнюю комнату, чувствовала всей спиной пристальный взгляд Павла Сергеевича.

Вернулась она в своём скромненьком светлом платьице, с выбившимися около ушей волосами, смущённо-румяная, с нерешительно вздрагивающими ресницами.

— Катя, не уходи, останься...— попросила Анна.

— Похоже — меня испугались? — улыбнулся Павел.

Он собирался умываться, был без пиджака, в сорочке с засученными рукавами, плечистый, улыбающийся, вовсе не похожий на того замкнутого, сурового мужа, о котором только что рассказывала Анна.

Катя ушла. Что-то мешало ей остаться. С приходом Павла Сергеевича без причины чувствовала себя связанной.

Шла к дому медленно. Вспомнила: широкоскулое, крепко вычеканенное лицо, перепутанные жёсткие волосы, обнажённые до локтей руки поигрывают мускулами, мнут толстое полотенце, взгляд прямой, дружеский, открыто весёлый, но где-то в глубине за всеёлостью тлеет тревожная искорка.

Не в первый раз Катя замечает эту искорку. При случайных разговорах в кабинете, при встречах на собраниях всегда кажется, что Павел Сергеевич смотрит на неё не так, как на всех, по-особенному... Нелепая фантазия. Кому не лестно вообразить, что такой человек, как Мансуров, отличает тебя от других. А в том, что он человек необычный, на голову выше всех, Катя теперь не сомневалась. Тем больше перед ним робости.

Павел веровал, что только беспокойные люди двигают жизнью.

Тот первобытный человек, который привязал к длинной палке острый камень, наверняка имел тревожную, ищущую душу. Его угнетала слабость своих рук, он хотел быть сильнее других охотников, и это не давало ему покоя, заставило думать и додуматься — он сделал копьё! Он быстрее всех на охоте сваливал пещерного медведя, он стал сильным. Беспокойство — признак силы!

Тревожные натуры изобрели машины, опутали материки железными дорогами, заставили по морям плавать корабли-города, а по воздуху — летать корабли-птицы. Люди спокойные, уравновешенные лишь подчинились неистовой силе беспокойных. Они, обливаясь потом, по указанию выплавляли из руды металл, по указанию вытачивали детали машин, по указанию укладывали шпалы, рыли туннели, вбивали сваи, перекрывали реки плотинами... Сила спокойных натур целиком принадлежала беспокойным, была в их власти...

Так думал Павел Мансуров.

Всю жизнь ему не давало покоя одно смутное беспокойство. Это беспокойство можно выразить двумя словами: «Не то!»

Он вырос в глухой уральской деревне. Учителя в школе, книги из сельской библиотеки, изредка наезжавшие кинопередвижки с забытыми ныне картинами «Абрек Заур» и «Красные дьяволята» открыли перед Павлом заманчивый мир. Вместе с этим открытием пришло желание вырваться из деревни. Кругом него всё не то; настоящее, красивое, загадочное, то — в будущем.

После школы он работал делопроизводителем в конторе леспромхозовского орс, томился и тревожился — не то, не настоящее.

Уехал в город, перепробовал специальности слесаря, монтера, был даже с неделю администратором кинотеатра, но всё это — не то, рвался к другому, пока неясному.

Удалось поступить в институт. Лекции, зачётные сессии, поездки на практику в Красноярский край. То или не то? Нашёл бы он своё место в жизни или нет? Неизвестно. Началась война...

Фронт и покой несовместимы. Нечего бояться, что жизнь застоит, начнёт надоедать однообразие. Что ни день, то новое, пока жив — оглянуться некогда. Даже смерть там приходила на ходу, её не ждали, её не готовились встретить. Два дня на передовой Павел был командиром взвода. На третий убили лейтенанта Яценко. Павел принял командование ротой, а через четыре месяца стал командиром батальона, через год был взят в штаб полка... Но вот демобилизация, от армии остались только погоны майора, спрятанные за ненужностью на дно чемодана, да офицерский китель со щегольскими бриджами, которые приходилось донашивать в будни. И снова тревожное беспокойство: куда идти, к чему приложить руки? Опять не то.

Теперь — хватит гоняться за загадочной синей птицей: руководи, действуй, покажи свои силы, есть где развернуться. Не подопечный Комлева или Баева, сам себе хозяин и другим голова.

После областного совещания Павел сначала почувствовал себя растерянным. Дал слово обеспечить полтыщи голов племенного скота. Одуматься — не маленькая ответственность, не лучше ли во-время спохватиться, пойти к секретарю обкома, признаться начистоту — пасую!

Этого хочет Федосий Мургин, хотят многие председатели. Даже Игнат Гмызин (уж как ждал в свой колхоз племенной скот) и тот насторожённо отмалчивается, по всему видно — ошарашен словом Павла.

Но беспокойство тогда становится силой, когда оно смело. Если бы тот первобытный человек был трусом, он не изобрёл бы копьё. Трусу и

копёе не в помощь. Беспокойство без смелости становится беспомощной суетливостью.

Федосий Мургин давным-давно утратил способность беспокоиться, и винить его за это нельзя: ему за шестой десяток, в такие годы тревоги и беспокойства — тяжкое бремя.

Игнат — мужик умный, сильный, и в решительности ему не откажешь, но, как матёрый медведь, он тяжёл на раскачку. Порой, прежде чем ногу поднять, постоит, подумает, куда поставить.

Так кого слушать: Федосия, Игната? Или самого себя?

Риск есть, но когда большое дело удавалось без риска? А здесь дело великое! Пятьсот голов племенного скота, разбросанных по колхозам района, через год дадут потомство. Увеличится животноводство, окрепнут колхозы. Это ли не показательно! Заговорят в области, зашумят газеты, до самой Москвы дойдёт слава о Коршуновском районе. Стоит итти на риск.

Нет, он, Павел Мансуров, дал слово и не пойдёт на попятную. Он будет бороться: «Или грудь в крестах, или голова в кустах».

То ли виновато его неуёмное беспокойство, то ли ещё какая причина, но Павел чувствовал — ему день ото дня труднее становится жить с женой.

С Анной он познакомился, когда служил последние дни в армии. Полк стоял в маленьком городке Владимирской области. Многие офицеры, кто с нетерпением, кто скрывая растерянность перед будущим, ждали со дня на день отчисления в запас, занятия проводили лениво, скучали. Женатые ходили друг к другу играть в преферанс, «холостяжник» по вечерам, наведя блеск на пуговицы и сапоги, отправлялся в жиденский городской сквер. Его посещали студентки лесотехникума и учительницы двух имеющих в городе десятилеток.

В этом скверике и встретились они. Чистенькая, сдержанная, любящая стихи, сухие воздушные волосы лежат на белом строгом воротничке глухого тёмного платья, с нежным и прозрачным лицом, Анна показала Павлу, только что вырвавшемуся из окопной грязи, фронтовых землянок, олицетворением семейного уюта. Опрятность, подчёркнутая безупречность девичьих воротничков сразу вызвала в воображении гардины на окнах, коврики у постели, ряды книг на полках, настольный покойный свет — всё, о чём стосковалась душа в фронтовой бивуачной жизни.

Всё это было. Было даже и большее, чем семейный уют. После командировок, где приходилось расстраиваться из-за каких-то телег, задерживающих вывозку семенного материала, после совещаний, где приходилось слышать обидные упрёки, что пропагандист Коробков плохо провёл семинары агитаторов, Павел знал, что дома его ждёт предупредительная жена, что она сможет посочувствовать не просто для виду, а умно, от души, что у неё наверняка подготовлена интересная книга, которая заставит забыть и телеги без колёс и пропагандиста Коробкова.

Всё это было хорошо, пока деятельность не захватывала всей его жизни. В своей аккуратной, чистой, со вкусом, насколько можно это в Коршунове, обставленной квартирке Анна всегда умела спрятать Павла от неприятности.

Но вот вся жизнь его изменилась, а Анна осталась прежней. Как и раньше, он первое время ей жаловался:

— Чёрт его знает что такое! Проехал от Сорокина до Верхних Дворков — ни одного хорошего моста. Уборочная на носу, по этим мостам комбайны пропускать. Сутолоков, пока в шею не толкнёшь, не пошевелился.

Анна отвечала ему, как отвечала в те дни, когда он жаловался на разбитые телеги:

— Стоит ли портить кровь?

Прежде она была права: неудачи обрушивались на его голову неожиданно, вина в том, что телеги не подготовлены, была не его, а отвечать приходилось ему. Теперь он всюду хозяин, даже мосты, даже телеги касаются его. Стоит волноваться, стоит портить себе кровь! А она этого не понимала, не хотела попятить, успокаивала попрежнему. Павел вдруг увидел, что они жили и живут разной жизнью. Ей не интересно, как он работает, ему не приходило в голову поинтересоваться, что делает Анна в школе. Жалобы её, вроде тех: «Никита Петрович, завуч наш, составил нелепое расписание. У меня четыре окна в неделю», или: «Наталья Ивановна требует с учеников в ответах книжной точности, прививает систему зубрёжки...» — Павел всегда пропускал мимо ушей.

Их, оказывается, объединяло немного: комната с ковриками, общий стол... Одна крыша — и только.

Встречаются разложившиеся семьи, где муж и жена живут каждый по отдельности; у мужа на стороне свои любовницы, у жены — любовники. Это — извращение, оно вызывает у людей чувство брезгливости. Но бывает иначе: муж и жена внешне живут порядочной жизнью, но взгляды у них разные, интересы разные, друг друга не понимают, чужды, а в то же время пужно встречаться день изо дня за столом, исполнять супружеские обязанности, дни, месяцы, долгие годы быть привязанными один к другому. И это никого не пугает, не удивляет, не возмущает, это считают нормальным.

Павел неожиданно начал замечать, как постарела Анна, что лицо её, прежде нежное, прозрачное, потускнело, что локти её рук слишком остры, что веки безнадёжно смяты морщинками...

Особенно ярко всё это бросилось в глаза, когда Анна надела то платье, в котором он недавно видел Катю Зеленцову. Ну, какое между ними может быть сравнение!



В прошлое лето в Демьяновском лесу, что подпирает поскотину «Сахалин», в самом глухом месте, сметали стожок сена. Зимой его вывезти не смогли: велик был снег, срывавшаяся с пробитой дороги лошадь тоннула в сугробах по уши... Никто не пытался вывезти сено и весной, в распутицу. Теперь в лесу повыветрило, Игнат Егорович вспомнил о демьяновском стожке — не пропадать же добру, наказал Саше: вывези.

Саша хотел захватить с собой Лёшку Ляпунова. Парень — крикун, а на работу зол, с ним не застрянешь. Но Лёшка перешёл в плотницкую бригаду Фунтикова, заворачивал брёвна на сруб, лаялся при этом со всеми.

Евламий Ногин, бригадир первой полеводческой, пощипывая густую бородку, долго соображал, кого бы выделить, и вдруг ухмыльнулся:

— Ладно, парень, найду тебе горяченького напарника, с таким не замёрзнешь... Когда отправляешься-то? После обеда... На конюшне ждать будет. Моё слово верно, не обману.

Саша не обратил внимания на ухмылку, вспомнил о ней, когда пришёл к конюшне и увидел этого напарника.

Лошади были выведены, запряжены, в телегах лежат сляги, деревянные вилы, верёвки — всё, как нужно, ничего не забыто, даже узелок с едой — платочек с игривыми цветочками — брошен на грядку. Рядом с лошадьми стояла Настя, в старых сапогах, в длинном, не по росту, мужском пиджаке, туго стянутом потрескавшимся ремнём. Она с весёлым вызовом взглянула на Сашу.

— Тронемся помаленьку, Степаныч?

— Ты едешь?

— Иль и тут не по нраву?

— Я бороду просил: парня дай.

— То и беда, что по нынешнему времени в парнях недостача.

— А, чёрт! Разговаривать! Иди домой лучше... Один поеду.

— Кто тебе, родненький, сразу двух лошадей доверит? У Островского оврага головы им свернёшь один-то.

Саша понял, что хочешь не хочешь, а Настю взять придётся. Бежать сейчас к бригадиру, заявить, а он, пряча в бороду знакомую ухмылочку, начнёт возражать: «Чем же плоха? Работяща, хоть с лошадьми, хоть с вилами парня за пояс заткнёт». Только для пересмешек и разговоров лишний повод.

Лесные дороги разнообразны. Есть просёлки с пылью в жару, с лужами после дождей, с грязными глубокими колеями, с колдобинами, с ухабами. Это дороги бойкие, они бегут от деревни к деревне, по ним ездят на дню несколько раз, случается видеть на них даже следы автомобильных скатов.

Есть дороги к вырубкам и покотинам: колёсные колеи отчётливы, они не заросли травой, а трава между ними притоптана копытами лошадей и скота... По таким не каждый день проходит колесо, но на неделе обязательно раз или два кто-нибудь проедет.

Есть дороги, ведущие к лугам: колеи еле заметны, поросли мягкой, нежной травкой. Их тревожат только во время сенокосов.

Но и ещё есть дороги... Как иногда в чистом небе бывает трудно различить, расплывшееся ли это облачко или просто марево, так не поймёшь, дорога ли тут или же редкий лес. Колей нет, бархатная, чистая, необмятая травка; часто там, где по расчёту должна проходить самая середина дороги, безмятежно растут юные ёлочки... Раза три в год, пригнув их верхушки, проскрипит по какой-то лесной оказии телега или же, приминая снег, протянутся сани. В остальное время всё живое здесь радуется солнцу и дождям в полном покое.

У такой дороги известно начало, но никто не знает конца. Незаметно для человеческого глаза она превращается в обычный лес.

С такой дороги легко «сорваться», потерять её, заблудиться вместе с лошастью.

Порой эта дорога удивляет каким-нибудь лесным сюрпризом: рухнула древняя сосна, да ещё в самую чашу, ни объехать её, ни перескочить, и в сторону не отбросишь — тяжела, кончившая свой век, матушка, хоть поворачивай обратно. Есть и заведомо опасные места...

На одной из этих безымянных, неезженных дорог Демьяновского леса таким опасным местом был Островский овраг. Ничего дикого, необычного в нём не было, овраг как овраг, без обрывов, весь зарос кустарником, но попробуй-ка в этом кустарнике прдраться с возом...

Порожняком проехали его легко. Настя на удивление всю дорогу была молчалива, шагала возле задней подводы, только изредка окликала Сашу:

— Правей держись! Собиёмся — не вылезем!

Будь она по своему обыкновению назойливой и весёлой, Саша легче бы переносил её общество.

На полянке — с одной стороны угрюмый частый ельник, с другой прозрачный, ясный осинничек — стоит стожок, потемневший, скособочившийся, похожий на старушку-горемыку, греющуюся на солнышке. Единственный во всём лесу стог — все остальные давно вывезены.

Лошади сами вплотную подошли к нему, с ходу зарылись в сено мордами.

— Не терпится! — прикрикнул Саша. Задирая лошадям головы, освободил от удил, сам надёргал из глубины несопременное сено, бросил лошадям под ноги.

— Глянь-ко, сова! — негромко воскликнула Настя.

На верхушке стога, у самого шеста, притаилась буро-рыжая птица, тревожно пучит слепые глаза, сердито растопорщила перья. Саша, схва-

тив с телеги деревянные вилы, потянулся к ней. Сова сорвалась, раскинув широкие, короткие, с грязножёлтой изнанкой крылья, полетела бесшумно через полянку, ткнулась в чашу ельника. Было слышно, как она забилась в нём.

— Ведьмачиха лесная! Спугнул, видно, кто-то её,— оживлённо заговорила Настя, пытливо и вопросительно заглядывая Саше в глаза, ожидая ответа.

Но Саша отвернулся, полез наверх раскрывать стог. И Настя снова притихла. Пока навивались воза, она не произнесла ни слова.

...С возами сквозь кусты пробираться было труднее. Время от времени то один воз, то другой угрожающе кренился, вот-вот опрокинется. Саша и Настя, придерживая их плечами, кричали на лошадей. Несколько раз руки их сталкивались; Саша поспешно отдёргивал, отворачивался от Насти...

Перед спуском в Островский овраг остановились. Из сухого валежника Саша выбрал толстый кол, просунул в задние колёса меж спиц — для тормоза, взял лошадей за поводья.

— Давай помаленьку,— приказал Насте.— Иди следом, поглядывай. Кричи в случае чего.

Неустойчивый, колеблющийся воз с медлительной нерешительностью пополз вниз меж кустов.

— Тихо, тихо, милая... Тяни помаленьку, не рви,— уговаривал Саша лошадь.

На самой середине спуска воз остановился. Саша сердито хлестнул лошадь, она дёрнулась, забилась, ломая копытами ветви кустов, и затихла, поводья боками.

— Тут под кустом яма выпрела — колесо провалилось. Что и делать, ума не приложу,— сообщила из-за воза Настя.

Саша оставил лошадь, обошёл вокруг накренившегося воза, хмуро приказал:

— Я сдам назад, ты слегу выдерни. Без тормоза спустимся.

— Спуск-то крутенок. Лошадь можем покалечить.

— Не сваливать же нам воз...

Напирая на морду лошади, Саша звонко, на весь лес, закричал:

— Н-но! Сдай! Сдай!

Хомут съехал на уши лошади. Несколько раз Саша чувствовал, что кованое копыто едва-едва не задевает его колена,— припечатает так с размаху, и останешься калеккой.

— Сдай! Н-но, милая!.. Да скоро ты там?!

Настя суетилась у задних колёс.

Вдруг воз дрогнул, что-то смачно хряснуло, Саша едва успел отскочить, его задело концом оглобли в плечо, отбросило в сторону. Храп лошади, треск кустов, плачущий крик Насти... Лежащий на земле Саша увидел, как падающий высокий воз заслонил полнеба и обрушился, вдавил его в кусты, вплотную к влажной земле, своей мягкой, удушливой тяжестью.

Всё стихло.

Саша, обдирая о кусты пиджак, вылез из-под воза. Над ним нависло бледное, без кровинки, со вздрагивающими губами лицо Насти.

— Слава богу, жив. Думала, насмерть придавило... Говорила же...— Она, как ребёнок после сильного плача, глубоко, прерывисто вздохнула, бережно помогла подняться.— Зашибся, поди?

В глазах её ещё не исчез недавний испуг, но уже мягкая, нежная, какая-то родственная радость вместе с выступившей влагой заблестела под короткими жёлтыми ресницами.

— Цел,— смущённо и неуверенно ответил Саша.

Лошадь задыхалась в вывернутом хомуте. Её распрягли, подняли на ноги, ошупали со всех сторон. Лошадь была невинна, зато от заднего колеса телеги осталась одна втулка с торчащими спицами. Верёвка, стягивавшая воз, лопнула, сено развалилось по кустам.

Покалеченную телегу лошадь вытянула наверх. Второй воз — с сердитыми понуканиями, с лошадиным придушенным храпением — осторожно спустили вниз и так же осторожно, тормозя колёса колом, с передышками, вытянули из оврага, поставили рядом с разбитой телегой.

— Ты таскай наверх сено, я пойду берёзку подсматрю, слегу вырублю, вместо колеса пристроим,— сказал Саша, выпрастывая из-под верёвки топор.

От земли вместе с прохладной сыростью к сдержанно шумящим верхушкам поднимались синие сумерки. С каждой минутой лес становился мрачней, суровей, неуютней. Стук топора о дерево звучал в тишине вызывающе громко.

С обделанным стволом молодой берёзки на плече Саша вернулся к возам. Сено из оврага было сложено кучей возле порожней телеги.

— Настя! — окликнул Саша.

В ответ из сена послышались сдавленные рыдания.

— Настя, что с тобой?

Из кучи сена торчали старенькие, со сбитыми набок каблуками сапоги Насти.

— Вот ещё... Да что случилось? С чего ты?

Настя села — к платку, к выбившимся волосам пристало сено, лицо, осунувшееся, усталое, весь вид её, в мятом пиджаке, в грубых сапогах, какой-то обездоленный, горестный.

— Делай всё да едем,— произнесла она тихо.

— Обидел тебя чем?

— Коль сам знаешь, что обидел, нечего и распытывать.

Она снова закрыла лицо руками.

— Настя...

— Что — Настя? — резко откинула она руки.— На вот, радуйся! Слезы лью! Лестно, небось... Сама любого парня присушить могу, ты меня присушил... Чем только? Мало ли кругом меня увивалось...

— Настя, пойми...

Саша осторожно дотронулся до её руки. Рука Насти, худенькая, с нежной, мягкой кожей на тыльной стороне, была груба и шершава на ладони. Она схватила сашину руку, притянула его к себе.

— По ночам снится. Покою нет... Ты уж думаешь, что бесстыдная я, бессовестная... Пристаю... А что сделаю, коль тянет? Ни к кому так не тянуло. Упал нынче под воз — сердце остановилось. Подмяла бы тебя лошадь, рядом бы легла, кажись, умирать... Заплачешь тут, коль видишь — ты в тягость, ни взгляда ласкового, ни слова человеческого...

Саша чувствовал теплоту и чистый запах девичьего тела, к его щеке прижалась мокрая горячая щека Насти.

— Настя, сумасшедшая!..

— Верно, сумасшедшая... Ум помутился, не могу без тебя. Хоть на время, да мой... Ледышка ты, людской радости в тебе ни на капелюку...

Она прижималась, горячие губы искали его губы, сухой туман окутал мозг, цветные пятна, как оранжевые совы, поплыли в глазах... Словно издали слышался шёпот:

— Иной раз думаю: рвал бы, кости ломал, не от боли, от счастья плакала бы...

Настя замолчала, только вздрагивающие губы обжигали лицо, без слов просили, умоляли...

Распряг лошадей, не стреножив, пустил по деревне, не развитые везы оставил у конюшни, сам, как вор, крадучись, направился к дому Игната Егоровича...

Избы сердито уставились ночными, чёрными, влажно поблёскивающими окнами. Казалось, не спит народ, из каждого окна глядят любопытные.

Случилось позорное. Какими глазами взглянуть теперь на Катю? Какой ценой искупить вину? Не говорить, затаить, спрятать позор? Разговоры пойдут, не спрячешься... Да что там разговоры, от своей совести нет прощения!

На следующий день он столкнулся с Настей у конторы. В белой, пышно облегающей плечи и грудь кофточке, в тесно обтягивавшей узкие бёдра чёрной юбке, Настя брезгливо, как чистоплотная домашняя кошечка, перебирала модными туфельками по грязному правленческому двору.

Старик пастух из деревни Большой Лес, дед Незадача, как всегда навеселе, увидев Настю, с пьяненьким изумлением развёл руками:

— Бутончик мой сладенький! Пра слово, бутончик...

Настя проплыла мимо восхищённого старика, бросила Саше улыбку горделивую, победную, ласковую...

А Саша вздрогнул от стыда, горя и ненависти к ней.

*(Окончание следует)*





---

---

В. ТЕНДРЯКОВ

★

## САША ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ

*Повесть\**

10

**С**танция Великая — бревенчатый вокзальчик с дощатой платформой — наверняка со времени своего основания не видала такого нашествия.

Вдоль дороги борт к борту стоят грузовые машины: истрёпанные по дорогам полуторки, осанистые трёхтонные «ЗИСы», даже пятитонный дизель с высоко поднятым кузовом — предмет вечной зависти каждого колхозного председателя. У грузовиков к бортам из толстых верхков досок приделаны клетки... Тут же — густо пропылённые от скатов до брезентовых тентов легковые «газики», та же пыль придаёт нарядным «Победам» утомлённый вид. Лошади, запряжённые в лёгкие ходки, плетушки, старомодные, начавшие, быть может, свой век до коллективизации, тарантасы. Лошади просто осёдланные. К ним уже из леспромхозовского посёлка набежали на даровое сено козы. Повозочные хлещут их кнутами, гонят прочь. Из того же посёлка появилась партия мальчишек, жадных до развлечения и пронырливых не менее коз.

Колхозные председатели стоят озабоченными кучками. Те из них, кто повидней, чей колхоз пользуется уважением, — в сторонке, на особи: рослый, с опущенными плечами Игнат Гмызин; с багровой шеей, наплывшей на ворот рубахи, Федосий Мургин; костистый, хищно вскинувший голову Максим Пятерский; молодой, в галифе, в рубахе навывпуск — ни дать ни взять красавец со старинной картинки — Костя Зайцев...

Из-под всех станционных кустов торчат головы, и в фуражках и простоволосые, рядом с ними — сапоги, а то и просто босые ноги — перематывал хозяин портянки да решил понежить на ветерке пятки.

Две большие группы женщин. Одни сидят на солнцепёке, распаренные, поскидавшие с голов на плечи платки, едва-едва перекидываются словом, другим. Вторая группа тоже на солнцепёке, но эти стоят и так громко и бойко разговаривают, что со стороны кажется — всем десятком враз торгуются о чём-то.

Молодёжь из колхозов, девчата и парни, похихатывает в тени вокзала. Среди них Катя Зеленцова.

Под развесистой берёзой — стол. Около стола — в белых халатах зоотехник Дядькин и главный ветеринарный врач района Пермяков. Дядькина каждая хозяйка знает в Коршунове — он мастерски удаляет перерастающие зубы поросятам. Пермяков, рыжеватый, веснушчатый, нетерпелив — всё время ищет в своих карманах что-то, цедит сквозь зубы:

— Экие увальни. В тартарары провалился их эшелон, что ли?

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

Дядькин сидит на стуле, косо стоящем на земле, спокоен, сосредоточенно, со вкусом курит, пропуская каждую затяжку сквозь заросшие волосом широкие ноздри.

Из станционных дверей вышло, сопровождая начальника в красной фуражке, районное руководство: Мансуров, Сутолоков, Зыбина...

Начальник станции, повертев торопливо своей красной фуражкой, оторвался и рысцой бросился куда-то к складам. Со всех сторон вслед ему полетели вопросы:

- Эй, хозяин! Долго нам сторожить твой порог?
- В болоте увяз их самовар.
- Свистни только — конями вытащим.
- Верно, быки сами паровоз тянут.

Начальник не отвечал, только передёргивал плечами. По потному лицу видно: районное руководство довело, сердит.

— Идёт, идёт, ребята! — громко сказал Павел Мансуров, проходя к председателям. — Через пять минут покажется. Готовьтесь принимать.

Все зашевелились, из-под кустов стали подниматься люди. Те, что, прохладжаясь, лежали босиком, торопливо начали обуваться.

Ни одну знаменитость не встречали так многолюдно на Великой, как встречали сегодня первую партию племенного скота.

Эшелон обещали рано утром, да вот где-то застрял... Прошли уже три товарных и один пассажирский поезд. Из последнего выскакивали люди, подбегали к ожидающим колхозникам, спрашивали:

— Молочком не торгуете?

Им отвечали:

— Обождите, вот приедет — надоим.

Провожали густым смехом.

Наконец-то идёт...

Вслед за отдувающимся паровозом потянулись длинные пульмановские вагоны. От головы к хвосту по телу эшелона прошла крупная дрожь, залязгали буфера. Эшелон остановился. Из приотдвинутых дверей каждого вагона выглядывали люди — больше женщины.

Неизвестно откуда, похоже вынырнул из-под колёс, появился юркий чернявый человечек в картузе небелёного полотна и в такой же гимнастёрке, изрядно затёртой в дороге. Он перебрислся несколькими словами с Мансуровым и Сутолоковым, затем, прижимая подмышкой полевую сумку, дрыгающей походочкой пошёл к столу под берёзой.

Колхозники, председатели толпились у вагонов, заглядывали в пахнущую навозом, сеном, молоком темноту дверей, заводили разговоры с сопровождающими.

- Издалеча к нам?
- В Кожве грузились.
- Это что за столица?
- В Коми...
- Вот те раз, с севера коров везут.
- Что ж, коль вы своим обеднели.
- Там колхозы так скотом богаты, что ли?
- Нет, тут все из совхозов да пригородных хозяйств.
- Жаль расставаться, поди?
- Чего там жаль... Нам кормить не легко, всё на привозном, у вас здесь сено своё...
- Своё-то своё, да не густо его. Чай, привередлива ваша скотинка, абы чего не жрёт?
- Что там привередлива... Рацион обычный.
- Наш рацион: летом по травке моцион, а зимой соломки под нос, добро бы овсяной, а то и ржаная идёт.
- Для таких заставят завести рационы — не простая порода.

— То-то и оно...

Открыли первый вагон, установили настил. Коровы, измученные долгим переездом в качающихся вагонах, ошеломлённые ярким солнцем, многолюдием, покорно выходили на свет, сразу же останавливались, пьяно пошатываясь. В их больших, тоскливых и покорных глазах лихорадочными тенями отражалась обступившая беспокойная толпа людей.

Игнат Гмызин пробил плечом тесную стену народа, встал впереди, широко расставив ноги, засунув руки в карманы. Лицо его было насупленным и холодным, маленькие глаза сузились, взгляд их стал острым, шупающим.

— Так, так,— бормотал он,— широкая кость, много мяса нарастёт... Похудали в дороге...

Его толкали в бока женщины, громко переговаривались, оценивали коров уже по-своему.

— Матушки мои, родимушки! Вот это вымечко! Что твоя торба.

— Пустое теперь, а как нальётся... Ведро, коль не больше.

— Вы на животы гляньте — брюхастые, на последях словно бы...

— В этикие пучины сколь корма войдёт. Съедят они нас живьём, голубчики!

— Тебя съешь — подавишься.

— У-у, ирод! Нашёл время зубы скалить.

На лицах женщин, потных, серьёзных и в то же время возбуждённых, чувствовалась растерянность и потаённый страх. Какая крестьянская душа, тем более бабья, останется спокойной при виде коров? Ещё каких коров — широкие спины чуть-чуть прогнуты, бока раздуты вширь, меж угловатыми крестцами и животом у каждой впалое место — дорога ещё сказывалась. У всех вымя висит мягкими тяжёлыми складками — недавно доены. Да кто понимает не разумом — душой, в кровь от прабабок и прадедов въевшейся любовью к скотине, сразу увидит: это — богатство! Но оно-то и пугает... Местную пеструху можно выгнать с утра на выпас, вспомнить к вечеру и подоить. Сама себе найдёт, чем набить брюхо. Этиких ли барынь держать на пеструхиных харчах?..

— К ветеринарам ведите! Чего задерживаете? Ещё насмотритесь,— раздались голоса.

— И то... За простой вагонов, верно, платить придётся...

Люди зашевелились, большинство бросилось к вагонам, часть пошла отводить в сторону коров.

Через два часа у тихой станции Великой шевелилось, мычало тесное стадо — вскидывались рогатые головы; уже деловито, по-хозяйски, раздавались женские голоса:

— Марья! Марья! Эту сивую заверни! Ишь, домой захотелось...

— Далеко дом, голубушка, далеко! Иди-ко, иди!

Разгружали последние вагоны.

В маленьком станционном буфете были выпиты все запасы воды, на полках остались только коробки дорогих папирос — «Северная Пальмира», «Герцеговина флор» — да шоколадные плитки.

К неудовольствию начальника станции, неподалёку от приземистой водокачки был разложен костёр, варилось артельное ведро картошки.

С восторженным визгом носились ребяташки, козы ныряли в гущу коровьего стада...

Мычание коров, гул людских голосов, путающийся в ветвях пристанционных деревьев дым костра, лёгкий запах гари, резкий — навоза и пота животных... Казалось, на станции Великой задержалось великое становище кочевников, здесь оно собирает свою силу, чтобы двинуться дальше.

Павел Мансуров не мог усидеть на месте. От ветеринаров бежал к вагонам, сам хватал коров за рога, осторожно сводил по шатким доскам, от вагонов срывался и бежал искать Игната, весело спрашивал:

— Ну, как? Прицелился?.. Присматривайся, присматривайся, лучших коров тебе...

Но Игнат Гмызин не мог оторваться от огромного белого быка, похлопывал его по бокам, оглаживал, ногтем отколупывал грязь и навоз, приставший к шерсти. У быка, где вагонная грязь и железнодорожная сажа не тронули тело, под белой шерстью просвечивала розовая кожа, на шее, груди, коротких ногах перекачивались толстые каменные мышцы. Этот бык должен был попасть в колхоз «Труженик», и с Игнатом в эти минуты разговаривать не стоило, он отвечал лишь «да» или «нет». Бык, выворачивая кровавый белок, косил глазом на будущего хозяина, зло рыл копытом землю, гнул неподатливую толстую шею, собирал кожу в мелкие складки. В его розовом, нежнее детской кожицы, носу висело массивное железное кольцо; от кольца, обвивая ствол дерева, тянулась цепь.

Картошку на костре варила молодёжь. Верховодила Катя Зеленцова. Мутный кипяток слили, ведро было опрокинуто на траву, картошка рассыпалась дымящейся кучей. Девчата расстелили два платка, разложили крупно нарезанные ломти хлеба, соль на бумажке.

С пыхтением прошагал мимо Федосий Мургин, нажимая тугой шеей на воротник, оглянулся, позавидовал:

— Одначе неплохо...

— Верно, неплохо... Примите в компанию! — Павел Мансуров быстрым шагом подошёл, скинул пиджак, запачканный в вагонах известью или мучной пылью, отбросил в сторону.

Фаня Горохова, доярка из колхоза «Первое мая», безбровая, солидная, щёки вздрагивают от каждого движения, подобрал юбку, освободила рядом с собой место:

— Милости просим, не побрезгуйте...

И величаво, с достоинством, как хорошая хозяйка на именинах, поджала губы.

Катя вдруг поймала себя на том, что позавидовала Фане.

Павел Сергеевич перебрасывал с ладони на ладонь горячую картошку, смеялся глазами, рот напряжённо приоткрыт, дышит часто, видны ровные блестящие зубы. «Боже мой, на мальчишку похож!» Он, видно, почувствовал на себе взгляд Кати, поднял голову, и по его смуглым скулам разлился неяркий кирпичный румянец. Катя поспешно отвернулась.

В это время со стороны раздался женский пронзительный крик:

— Бабоньки! Родимые!

Послышалась крепкая мужская ругань, лёгкий перезвон, треск, утробное — короткими, частыми выдохами — мычание.

Огромный белый бык, который недавно был крепко привязан цепью к дереву, своротив стол ветеринаров, круто согнув короткую шею, выставив лоб, слепо шёл вперёд, волоча по траве цепь.

— За цепь его хватай! За цепь!.. Успокойтесь!

— Серёга! Куда прёшь?

— Не с того конца, дуrolом! Смерти хочешь?

— Господи! Миленькие! Да сзади, сзади, родные, подходи!

Игнат Гмызин — без фуражки, бритая голова блестит на солнце, — отталкивая в стороны попадавших на его пути людей, бросился сзади к быку, с несвойственной резвостью нагнулся к тянущемуся по траве концу цепи... Но бык, словно почуял, круто повернулся, плечом сбил Игната на землю.

— А-а-а! Милушки! Затопчет!..

Тяжёлый, рослый Игнат по-мальчишески весело, с боку на бок, покатился от копыт в сторону. Он, видно, успел схватить цепь, дернуть ее. Бык с сиплой яростью взревел от боли. Не обращая внимания на Игната, не успевшего вскочить на ноги, он медлительной рысцой, от которой, казалось, вздрагивала земля, ринулся на сбившийся в кучу народ. Сталкива-

ясь, падая, снова вскакивая, люди кинулись врассыпную перед многопудовой тушей, тараном несущей впереди себя короткую, словно обрубленную, голову. Из-под твёрдых, крутых надлобий бешеной злобой горели налитые кровью глаза.

Платок сорван, волосы растрёпаны, в группу девчат и ребят, окруживших потухший костёр и разбросанные на земле платки, врезалась женщина.

— Смёртынька моя! Спасайте, люди добрые!

Катя видела, как одеревенели крутые скулы на лице Павла Мансурова, он весь вытянулся, словно вырос, на своих чуть выгнутых, туго облитых галифе и мягкими сапогами ногах, упруго шагнул вперёд, навстречу крикам и воплям.

Перед мордой быка оказался один человек, зоотехник Дядькин. Широкозадый, неуклюжий, в мятом халатике, он растерянно выплясывал, подаваясь назад, боясь повернуться спиной к быку. В руках у него была какая-то папка, он отмахивался ею, а оборвавший свою рысь и перешедший на скупые шажочки бык напирал головой. Дядькину кричали:

— Не махайся! Зря гневишь!

— В сторону прыгай, в сторону!

— Да беги ты, чёрт!

— Ой! Пропал человек!

Наконец Дядькин, задев за короткие рога распахнувшимися полами халата, повернулся и заячьими прыжками бросился прочь. Бык качнулся, от тяжести не сразу набрав быстроту, ринулся следом.

Навалившись животом на станционную оградку, Дядькин перевалился и упал... Лёгонькая оградка, сколоченная из тонких планок, разлетелась в щепки, пропустила быка.

— О-ох! — Общий, как один, выдох пронёсся по народу.

Дядькин не успел подняться. Сбитый тупой головой, он снова упал на землю и вяло, мешком, перекатился. Бык с разгону упёрся в бревенчатую стену станционного здания, очумело, непонимающе стоял секунду, другую, повернулся, попрежнему взбешённый; по тяжёлому кольцу, выпущенному из розовых ноздрей, текла тягучая слюна. Безумные, сумасшедшие глаза искали новую жертву.

И тут только все заметили, что около быка близко, очень близко стоит один человек — Павел Мансуров. Его заметил и бык, качнулся к нему, громадный, белый, лоснящийся от пота, бока с натугой раздвигаются и опадают — вот-вот ринется, смешает со щепой...

Павел шагнул навстречу. Бык резко вздёрнул голову, но промахнулся — рога не задели Павла — и вдруг дико взревел... Но в этом хриплом рёве слышалась боль и жалоба. Павел держал рукой кольцо, вправленное в розовые ноздри.

Покорно вытянув голову, бык двинулся за Мансуровым. Лишь размашисто ходившие бока выдавали в нём с трудом остывающий гнев.

Около разбитой оградки лежал ничком, в халате, задранном на лопатки, Дядькин. Вокруг него на траве белели листы бумаги, разлетевшиеся из папки. Он с трудом поднял голову, с натугой застонал — то ли невнятно выругался, то ли позвал... О нём вспомнили, к нему бросились...

Игнат Гмызин сконфуженно ощупывал синяки на бритом черепе.

Катя как вскочила на ноги, так и не двинулась с места. Она вытягивала шею, старалась разглядеть в обступившей быка толпе Павла Сергеевича.

Скот увозили и угоняли партиями. Станция быстро пустела. Начальник в красной фуражке ходил взад-вперёд, грустно глядел на оставленные коровами лепёшки, на разбитую оградку. Будь на то его воля — прогнал

бы эшелон с таким грузом подальше, к чёрту на кулички. Да станция крошечная, разъездные пути только напротив вокзала...

У Кати от райкома комсомола была своя лошадь, тихая и покорная кобылка Погожая. Ездить на ней, держать в руках вожжи, покрикивать ласково: «Н-но! Родненькая! Шевелись!..» — доставляло Кате почти детскую радость.

За складами, где шоссе уходит прямо в лес, она вдруг увидела задумчиво стоящего на самой дороге Павла Сергеевича, пиджак накинут на плечи, подмышкой папка Дядькина. Он быстрым, решительным шагом двинулся ей навстречу.

— Екатерина Николаевна, подберите подкидыша.— Он положил на передок пролётки руку, глядя ей в лицо, улыбнулся виновато.— Отправил на своей машине помятого Дядькина в леспромхозовскую амбулаторию. Пока возился, все поразехались...

— Да, да, пожалуйста.— Катя торопливо задвигалась в набитой соломенной пролётке, освобождая рядом с собой место.

Дорогой они говорили не о племенном скоте, не о колхозах, вообще ни о чём серьёзном. Павел Сергеевич, забрав вожжи в свои руки, выкинув из пролётки одну ногу в хромовом сапоге, рассказывал о том, что встреча с таким взбесившимся быком вторая у него в жизни. В детстве он рубил дрова с отцом. Выскочил такой же бык. Отец бросил топор (чтоб сгоряча не садануть — отвечать придётся) и скатился в овраг. Он, Павел, не помня себя взлетел на дерево, и это дерево, молодую берёзку, бык стал раскачивать рогами.

— Думал, стряхнёт меня или с корнем дерево выворотит. Лес да земля вместе с небом перемешались...

Путь не короток до села Коршунова. Павел Сергеевич успел рассказать о диких зарослях малинника в лесных чащах Северного Урала: «Продираешься, бывало, верхом, а лошадь у нас белая была; приедешь домой — живот и ноги у неё красные, а сапоги от сока промокли». Рассказал о дикой реке Чусовой, о донских степях с прыгающими перекасти-поле, где пришлось воевать.

Кате почему-то казалось всегда, что он замкнутый, — нет, оказывается, очень простой, разговорчивый. Как ошибёшься иногда в людях...

## 11

Поздно вечером большое здание райкома и райисполкома пустеет. В коридорах, где днём постоянно толчётся народ, — тишина. В общем отделе на столах — покрытые чехлами машинки. В кабинетах торчат окурки в пепельницах (всё, что осталось от делового дня), безмолвствуют телефоны... Как красят люди помещение! Ушли все, и вот уже из углов уютно пахнет канцелярией — пыльной, залежавшейся бумагой, химическими чернилами и ещё чем-то официальным, нежилым.

Из всего здания только в одном месте теплится жизнь. В маленькой прихожей, перед кабинетом первого секретаря, до самой поздней ночи горит свет. Здесь по вечерам сидит дежурный. Дежурят по очереди все работники райкома и даже просто члены партии, проживающие в райцентре.

Дежурить — дело не мудрёное. Возьми с собой книгу, хочешь — сиди читай, хочешь — дремли над ней. Позвонят — расспроси кто, по какому вопросу и звони на квартиру к первому секретарю. Впрочем, ночные звонки стали редкостью...

В два часа ночи появляется ночная сторожиха Ксения Ивановна. Пока дежурный собирает свои книги, надевает плащ, она чинно сидит на краешке стула. Дежурный уходит. Ксения Ивановна, распустив платок, позёвывая, щупает рукой замки на шкафах, затем уходит в кабинет пер-

вого секретаря — там мягкий диван. Свет в дежурной комнате не тушит — пусть видят его с улицы, дверь в кабинете оставляет открытой — позвонят, слышно.

Кате приходилось дежурить не в первый раз.

Она раскрыла заложенную конфетной обёрткой книгу, принялась читать:

Ты услышишь всё то, что не слышно врагу.

Под защитным крылом этой ночи вороньей...

Подняла глаза и засмотрелась, как по матовому абажуру настольной лампы ползает серая, клинышком, ночная бабочка.

Что-то непонятное творилось в её жизни. Более полугода она встречалась с Сашей... Старая сосна за селом, размолвка, примирение, наконец слова: «Хочу, чтоб стала женой...» Этих слов она ждала, давно ждала. Отмахивалась про себя: «Пустое... Встречаемся, и только...» Но какая девушка с первой встречи, если парень понравится, хотя бы мельком не подумает об этом. Подумает, а там уж одно из двух — или разочарование, или ожидание от встречи к встрече, от вечера к вечеру. Это ожидание особое, оно не тягостное, не трудное, с ним легко жить, каждую минуту ждёшь какую-то великую новость.

И вот свершилось, слово сказано Сашей, ожидание кончилось. После этого должно случиться что-то огромное, после этого катина жизнь должна измениться совсем, стать новой.. Прошло уже около недели, а всё по-старому. Саша не показывается... Но слово-то сказано!

Однако самое страшное и удивительное не то, что исчез неожиданно Саша. Пугает другое... Она сама спокойна. А должна бы волноваться, не находить себе места, негодовать, если позволит гордость, искать его... Что с ним? Как теперь думает? Неужели раскаялся в своих словах?..

Не ищет, не волнуется — спокойна. А обрадуется ли она, если Саша появится и снова будет настаивать на том, что сказал? Даже сейчас при одной мысли об этом чувствует какую-то растерянность.

Что-то непонятное творится в жизни. Лучше не думать...

Ты услышишь всё то, что не слышно врагу.

Под защитным крылом этой ночи вороньей...

Серая бабочка ползает по абажуру, как будто внимательно, сантиметр за сантиметром, изучает его.

Тихо... И отчего быть шуму, когда на обоих этажах, в длинных коридорах, многочисленных комнатах — ни души. Тихо, а стоит прислушаться и — на лестнице таинственный скрип, над потолком что-то легонько погромыхивает. Дом-то старый, строен ещё купцом Ряповым для себя, для семьи, для конторы и разных служб, после этого десятки раз перестраивался, ремонтировался, но всё-таки старый. А в старом доме всегда что-нибудь трещит, осыпается...

Катю не оставляет одно навязчивое ощущение: вот-вот должен кто-то прийти, и потому она не может читать, всё прислушивается... И кому приходится, когда идёт двенадцатый час ночи? Давно уже кончилось кино, переговариваясь, прощаясь на ходу, прошёл мимо народ. Ксении Ивановне ещё рано... Нет, надо читать.

Ты услышишь всё то, что не слышно врагу...

А всё-таки который час? Катя тянется к телефону, но рука её ещё не успела коснуться трубки, как телефон сам, громко, казалось на весь опустевший дом, загремел. Катя вздрогнула: «Экий голосистый...»

— Дежурный слушает...

Незнакомый усталый басок:

— Мансуров случайно не засиделся?

— Это кто звонит? Откуда?

— Из леспромхоза... Так нет его?.. Ну что ж, па нет и суда нет.

— Если срочное дело, я могу позвонить к нему на дом. Позвонить? А?..— Катя едва сдерживает нетерпеливость голоса.

Но усталый басок возражает:

— Звонил уже, нет его дома.

Далеко, за тридцать с лишним километров, в конторе леспромхоза кладут трубку. С неохотой кладёт трубку и Катя. Связь её с миром оборвалась. Телефон снова безмолвный, бесстрастный, мёртвая вещь на столе.

«Ты услышишь...» Нет, она совсем не может читать, она волнуется, ждёт... Почему так взволновал её телефонный звонок, что ей такое сказали из леспромхоза?.. Ага! Нет Павла Сергеевича дома... Но где же он тогда? Ведь уже полночь. Смешно подумать, чтобы он в такое позднее время мог подняться сюда... «Вот оно что! Ведь это его ты ждёшь, прислушиваешься — не его ли шаги раздадутся по лестнице?»

Серой бабочке стало горячо на абажуре, она сорвалась, принялась выплясывать над лампой. Катя склонилась над книгой.

— Дорогие мои, я хочу вам ~~помочь!~~  
Я готова.

Я выдержу всё.

Прикажете.

Внизу глухо хлопнула дверь. У Кати упало сердце: послышалось или нет? На лестнице раздавались размеренные, неторопливые шаги. Как хорошо всё слышно в этом пустом старом доме. Но кто же это идёт? Выскочить? Спросить? А вдруг и на самом деле?..

Катя торопливо склонилась над книгой:

Тишина, тишина нарастает вокруг...

Шаги раздались по коридору. Сейчас откроется дверь. Неужели он?..

Дверь открылась. Вошёл он.

Катя, сгорбившаяся над книгой, растерянным, жалобным взглядом встретила Павла Мансурова.

— Дежурим?.. Никто не звонил?

Голос у него холодновато-сдержанный, вид обычный — верно, просто зашёл проверить.

— Звонили... Из леспромхоза... Вас спрашивали...

— Угу.

Павел присел к столу. При свете, упавшем из-под абажура на его лицо, Катя заметила, что под устало опущенными веками глаза у него неспокойные, горячие, он сам это чувствует и прячет их. Она со страхом ждала, когда он поднимет глаза.

— В твои годы,— начал Павел спокойно и негромко,— я от института ездил на практику в тайгу... Красивые места...

«К чему это он?»

— Дикие и красивые... Но всё портит одна вещь — мелкая мошка, гнус. Вот и в обычной жизни так. Всё вроде бы хорошо, а мелочи, мошки заедают, и становится трудно до нестерпимости...

«К чему это он?..»

— Молчишь?..

Катя молчала — ну, что ей ответить?

— Понятно... Что тебе сказать на это? Ты только начинаешь жить.

Павел Сергеевич говорил, но глаз не поднимал, а только поглядывал осторожно, краешком.

— Не понимаю,— растерянно призналась Катя.

И глаза его взметнулись, горячие, с разлившимися до белков зрачками, его рука властно легла на задрожавшую руку Кати, придавила к столу.



— Я перестал любить свою жену... Мне тяжело. Я в растерянности... Ты теперь понимаешь, для чего я всё это говорю?

О-о! Это не Саша... Страшно, жутко сейчас, но самую большую радость на свете ни за что не променяешь на этот страх. Сказать ему что-то надо, возразить, отодвинуться... Да что уж там... Бессильна пошевелиться. Вот она, вся перед тобой. Требуй.

## 12

Раньше, если в хозяйстве родится телёнок, — в доме радость. Соседи поздравляют: «С прибавком вас...»

В Коршуновском районе — «прибавок». В каждый колхоз прибывает племенной скот. И, казалось бы, надо радоваться — впереди богатство! Но вскоре в разных колхозах, разными людьми была замечена одна, на первый взгляд, пустячная вещь: выпущенные на свежую траву (она уже густо поднялась на выпасах и по просекам), племенные коровы уныло стоят, косят по сторонам голодными глазами, мычат жалобно и ни былинки не берут в рот.

Все они, как одна, выросли, не зная выпасов, ни разу в жизни не видали зелёной травы, в совхозах и пригородных хозяйствах, близких к Крайнему Северу, они пестовались на стойловом кормлении — завозном сене, проращённом зерне, силосе.

Ещё задолго до весны во многих колхозах кончилось сено, последние остатки приели в посевную лошади (не держать же их, работающих на полях, на соломе), до травы изворачивались — подкидывали, овсяную солому, крошили и запаривали ржаную. Свели концы с концами, дождались травы. Не впервой.

И вот в эти самые дни, когда уже в колхозах не особенно беспокоятся о корме для скота, скотницы, приставленные ухаживать за племенными коровами, со слезами начали обивать пороги правленческих контор: «Освободите, ради бога. Из рук даём, отворачиваются... Долго ли до греха...»

Из райкома, из райисполкома звонили по разным областным организациям, запрашивали, где купить сена, хоть в кредит, хоть наличными. Но, верно, с наплывом нового поголовья в область такие запросы летели от многих. В МТС и в райисполком пришли лишь бумаги, где во всех подробностях было описано, как ухаживать за прибывшим скотом, приложены во всей точности разработанные рационы: грубых кормов столько-то, сочных столько-то, столько-то красной моркови для введения витаминов в организм. Районные руководители, читая эти разумные наставления, кисло морщились.

Во всём районе не было ни одного председателя колхоза, который не завидовал бы Игнату Гмызину: «Назаквашивал силосу, теперь знай яму за ямой распечатывает — горюшка мало...» Да и как не завидовать... Если обычная коровёнка из «навозного племени» падёт, за ту таскают, спрашивают с пристрастием, а тут на особом учёте, сдохни. хоть одна племенная — не миновать суда.

И не дай бог оказаться в беде первым — весь гнев выльется на голову несчастного.

Председатели колхозов изворачивались, как могли, выписывали всё — овёс так овёс, ячмень так ячмень, даже припрятанные на всякий случай остатки яровой пшеницы отпускались из амбаров для племенных коров.

Но миновать беду трудно. Первое известие пришло из колхоза Федосия Мургина. Скотница Прасковья Кликушина, получив по наряду овёс, накормила два дня голодавшую корову Карамель и по глупой доброты своей или по забывчивости напоила. А ночью к спящему Федосию Мургину с грохотом — вот-вот выскочат из рамы стёкла — постучали. Карамель умирала от колик. За ветврачом сразу же послали лошадь. Тот приехал рано утром, сказал: «Поздно», составил акт и уехал...

Самое страшное — ждать наказания.

За четыре дня перед бюро Федосий Мургин осунулся, лицо пожелтело.

Никакой вины он за собой не чувствовал. Прасковья опростоволосилась. Вот уж воистину куриная голова у бабы — весь век на крестьянской работе, а такой простой вещи не сообразила. Виноват и Куницын, заведующий молочной фермой, — недоглядел; зоотехник Рубашкин — не подсказал во-время...

Он, Федосий Мургин, не собирается отыгрываться на Прасковье или на Куницыне. Подло свалить всё огулом на глупую бабу, когда у той куча ребятишек, муж убит на фронте. Но взять да раскрыть грудь — бейте, всё приму! — ни к чему это вовсе.

Мансурову же одно интересно — проучить, чтоб другие задумались. А на примере с Прасковьей не проучишь — мелка. Но уж так повелось, что всегда ответчик за беду — председатель колхоза.

Помнится, в колхозе «Большевик» (нынче влился в «Труженик») жулик кладовщик во время сева подсунул вместо отсортированных подопревшие семена. На ста гектарах не взошло. Кто ответил? Председатель Тимофей Ивашко.

А в Чапаевском колхозе погнила тысяча центнеров овощей. Виновники посторонние — начальники орсов, которые заключили договоры. Ни одной машины, черти дубовые, не прислали, а Алексей Семёнович Попрыгунцев перед судом отвечал...

Нет, Федосий Савельич, ты конь старый, выезженный, знаешь, с какого конца палка бьёт. За твой заговор возмуться. Одно может помочь тебе — седые волосы, двадцать с лишним безупречных лет на председательском месте!

Федосий плохо спал по ночам, вспоминал в подробностях всю свою жизнь. Шестьдесят пять лет за плечами, много пережито, всякое случилось... Кажется бы, можно набраться ума, всякую беду на версту вперёд видеть, но правду говорят: век живи — век учишь...

Мургин ворочался грузно с боку на бок, припоминал, как учила его жизнь. Ох, велик путь, нелегка дорожка...

Отец его был столяр и печник — «золотые руки да непутёвая головушка». Мог бы жить неплохо, но пил. Раз в два месяца спускал всё, что имел и что не имел, — пропивал в долг будущую работу, — потом ходил, взяв гармонь за одно ухо, кичливо кричал: «А ну, кто против Савёлки Мургина!» Пьяным и был убит в Троицу на гулянье.

Он оставил после себя избу с разобранной крышей — собирался ново перекрыть, да тёс-то пропил — и крошечный клинышек земли за Приважским лугом.

Не в отца пошёл Федосий. Летом пропадал на поле, пахал на чужой лошади. Зимой ходил по окружающим сёлам и деревням, перекладывал печи, случалось, и зарабатывал, но обнов не покупал — каждую копейку хоронил на лошадь. Хотел стать хозяином. «Ужо, пообзаведусь, легче будет...» Это под старость разнесло — поперёк себя толще, а раньше был жиловат, сух, как перекрученная корявая сосенка на песчанике, уёму в работе не знал. Редкую ночь спал больше четырёх часов, даже в праздники не давал себе отдыха.

И стал хозяином.

Выходил поутру во двор: лошадь бьёт о переборку копытом — хоть мелковата, стара, живот бочкой, но своя! Корова вздыхает — своя корова! Овцы шуршат в подклети — свои овцы! Хозяин! Обзавёлся! Но легче не стало: «Мало! Больше надоть!»

Себя не жалел, не жалел и жену. Она родила двух погодков, Пашку да Стёпку, а ещё троих — мёртвыми. У неё дети, хозяйство, мужу помощница. «Шевелись, Матрёна! Не богатые, чтоб полати пролёживать!»

И Матрёна шевелилась, так и умерла на ходу — поднимала на шесток полутораведёрный чугуи с пойлом и упала... На другой женился.

Подросли сыновья, на сыновей навалился Федосий. И уж не одна брюхатка на дворе, а две лошади холками под потолок да к ним ещё стригунок, четыре коровы, овец стадо... Но... «Мало! Больше надоть!»

Сперва случилось одно несчастье — сыновья сбежали от отцовской каторги. Ушли зимой в город на сезон рабочими и не вернулись.

Его считали крепким середняком — не терпел чужих рук при дворе, всё вывозил на собственном горбу. Каждая стёжка на оброти, каждая лоснившаяся шерстинка на лошадиной спине была прошита, выхолена им самим, не придерёшься, не эксплуататор.

В деревне его не любили. Он тоже без особого почтения относился к однодеревенцам. На богатых смотрел косо, голь презирал. Помнил одно: «Велика земля, а жить тесно. Чем дальше от других, тем покойней». И нелепым, глупым, страшным показалось ему то, что не кто-нибудь, а его родные сыновья, вернувшись (оба уже отслужили в армии), начали звать мужиков соединиться в одну жизнь, в одну семью, в колхоз!

С давних пор самым большим врагом Федосия был кулак из Шубино-Погоста Лаврушка Жилин. Федосий как-то прицелился купить мельницу — Лаврушка у него перехватил; Федосий приглядывался к лугам по речке Ржавинке — Лаврушка снимал их первым; вздумал было Федосий заняться шорничеством, накопил кож, пригласил из Ново-Раменья старика Данилку Пестуна в помощники, но Лаврушка и тут подставил ногу — свою шорную наладил, сманил и Данилку. Кулаки грыз от злобы Федосий, когда начали гнить кожи. Жидковат он был против Жилина. Друг на друга не смотрели, друг с другом не здоровались, а как подпёрли колхозы, сошлись они душа в душу. Не таясь, ругал Федосий перед Лаврушкой своих сыновей.

И как бы повернулось тогда дело — неизвестно, если б в одно утро у крыльца Остановского сельсовета не нашли мёртвым старшего сына Федосия — Степана. Сзади, в упор, дробью разнесли ему череп.

С топором под полой искал тогда Федосий Лаврушку, но... сбежал, собака.

В тот день Федосий впервые задал себе вопрос: для чего он живёт?

Для чего?

Иные любят жизнь просто. Любят росу поутру, тревожные затишья перед грозой, ливень пополам с солнцем, любят цветистую радугу на обмытом небе... Всё это они любят бескорыстно, только за то, что красиво, что это жизнь.

Такой жизни Федосий не знал и не хотел знать.

Для него обильная роса на траве — хорошо, значит будет погожий день, значит он, Федосий, успеет выкосить свой загон.

Притихло всё, жди грозы — плохо, не дай бог, побьёт хлеб градом.

Ливень с солнцем — славно! Сохнут хлеба, давно пора обмочить землю.

А радуга — это пустое, она могла быть, могла и не быть. Пусть висит, никому не мешает.

Федосий корыстно любил жизнь, слова: «Мало! Больше надоть!» — не давали ему покоя.

Он жил для хозяйства.

После смерти Степана он задал себе вопрос: для чего ему оно? Чтоб быть сытым? Нет. Миску шей и кусок хлеба он мог иметь и без большого хозяйства, а к разносолам Федосий всегда относился равнодушно.

Для сыновей? Нет. Из-за этого хозяйства и отказались от него сыновья.

Выходит, что ни для чего! Жизнь показалась впереди пустой, ложись и умирай — ничего другого не оставалось.

Но Федосий не умер, жизнь повернулась по-новому...

Он всё, что копил десятилетиями, вытягивая жилы из себя и из родных, отдал в колхоз, всё — лошадей, коров, овец. Чего уж жалеть, коли жизнь кончена.

Председателем колхоза тогда стал его Пашка. И хоть не хватай его голыми руками — уже партиец, но как был сопливый мальчишка, так и остался. Постоянно бегал к отцу, спрашивал: «А как здесь, батя, поступить? Что ты тут посоветуешь?..» Выручал его Федосий, подкашивал, втихомолку от людей поругивал: «Власть ваша несуразная, молокососов к такому делу допускает...» Сам же работал простым колхозником. После домашней каторги работа в колхозе показалась забавой. Легко работалось, но работал не от души, а так — просто без работы жить скучно.

Помнит, первый раз на общем собрании вызвали перед всеми к красному столу и вручили премию. Премия пустяковая — ситчик горошком на рубашку. Но Федосий ходил подавленный. Раньше, чем он больше работал, тем чаще слышал: «Мало ему, прорве, подавился бы! Хапуга!» Шипели от зависти. А вот нынче: «Спасибо тебе, Федосий Савельич. Чем богаты, тем и рады — ситчик горошком прими». Эх! Люди!..

Под отцовским доглядом Пашка уже начал разбираться в хозяйстве, но ударило парню в голову ехать учиться. На собрании неожиданно-негаданно выбрали председателем его, Федосия. «Человек ты хозяйственный, непорядку не допустишь, помним, какое хозяйство для себя своротил, теперь для народа потрудись...»

Это было двадцать один год тому назад.

Тогда уже казалось, что его прошлое отпало, как старая короста... Во время войны, с одними бабами, выдавал фронту по две тысячи центнеров хлеба, а масла, а мяса сколько!.. Колхоз-то был — две маленькие деревеньки. Подал заявление в партию, приняли без возражений.

Своими деревнями жили семейно, дружно, а на соседей косились — колхозы кругом были незavidные, любили просить займы, за них приходилось доплачивать то поставки, то в фонд обороны... Недолюбливали в колхозе Мургина тракторы и комбайны — за них приходилось платить натуроплату. То ли дело лошади: что ни сделал на них — всё в своём кармане.

Век живи — век учись... Плохо, оказывается, работал, непутёво. Всё хозяйство держал на своих плечах, раз председатель — значит маточная балка всему колхозу. Был твой колхоз — две деревеньки, триста га пахотной земли, — ворочал, ума хватало. Запрягли в колхозище, земли уж не триста га, за день на пролётке не объедешь, — стал спотыкаться на ровном месте.

Не только своим умом жить, людей заставлять надо думать. Есть один агроном Алёшин — золото парень, остальные ждут, что скажет председатель. Оттого и кормов нехватка, оттого и несчастья...

Дай бог эту беду миновать — животноводов на курсы пошлёт, трактористов толковых из своих ребят подберёт, заставлять будет: думайте своей головой, не ждите указки. Лишь бы беда с места не столкнула. Столкнёт — конец Федосию Мургину, годы не те, чтоб снова подниматься, ложись тогда и помирай. Не столкнёт — покажет ещё, на что старики способны. Уж покажет!..

Два часа продолжалось бюро. Два часа распаренный, осунувшийся Федосий Мургин выслушивал упрёки, возражал, оправдывался, признавал свою вину. Ничем другим так быстро не купишь прощения, как тем, что во-время — пусть скрепя сердце — признаешь вину. Голоса становятся сразу тише, упрёки снисходительнее, взгляды мягче.

На прощание Мансуров сказал:

— Возраст тебя спас. Твои седины жалеем. С кем другим разговор был бы более короткий. Но гляди — случись ещё раз такое, не мы с тобой будем разговаривать, а прокурор!

Мургин спустился к своему коню сумрачный: выговор, да ещё строгий, шутка ли на старости лет схватить. Но в глубине души чувствовал облегчение: могло быть и хуже, до крайности не дошло, на председательском месте оставили. Об этом даже страшно подумать... Пусть выговор, пусть строгий... Обидно, но теперь-то он возьмёт в оборот своих колхозников, к Игнату Гмызину без стеснения на выучку пойдёт. Через год, глядишь, и нет выговора — снимут. Кончились страхи, слава богу!..

Правда, и кроме выговора, есть о чём печалиться. За корову-то платить придётся, а она, окаянная, не простых кровей — четыре тыщи с гаком стоит. Ну, «гак» покроется, прирезать успели... Четыре тыщи! Их бы по закону должна Прасковья заплатить. А что с неё взять? Придётся обмозговать с правленцами..

Покряхтывая, Федосий с трудом влез в плетушку, поёрзав, устроился на вянущем клевере («Вот дожили, даже председательскому коню — ни клока сена»). Лошадь с охоткой тронулась к дому.

Выехал за село, пустил пролётку по обочине, чтоб не трясло на булыжнике, задремал. Пролётка нет-нет да кренилась. Сонный Мургин всей своей рыхлой тяжестью заваливался набок, покрикивал сипловато: «Н-но! Слепота!» — и снова засыпал.

Своя деревня встретила его весёленькими огнями, пробивающими густую листву кустов и деревьев перед окнами.

«Э-э, — сразу же встрепенулся председатель, — уж за полночь, почему свет горит?»

Погребное и Сутолоково освещались от маленькой ГЭС, построенной на месте бывшей мельницы. Летом, по указу Федосия Савельича, в одиннадцать часов свет выключали, ГЭС запиралась на замок. Зачем попусту заставлять крутиться генератор, кому нужен свет ночью, да и спать народ будет ложиться раньше, значит раньше вставать на работу.

«Гришка Цветушкин, поганец, своевольничает, — решил Федосий. — Ребята с девками, видать, пляску устроили, уговорили посветить. Вот я ему посвечу! Уж коль нестерпёж, выплясывайте при керосине...»

В темноте хлопнула калитка, кто-то выскочил, побежал вперёд, слышался женский голос, негромкий, со сдержанным испугом:

— Господи! Господи! Твоя воля! За что только такая напасть?

«Ужель опять что случилось?» — похолодел Федосий, подхлестнул лошадь, позвал:

— Авдотья! Ты это?.. Чего причитаешь?..

— Савельич! Солнышко! Ведь наново беда! Наново!

Федосий нагнал Авдотью, придержал лошадь.

— Ты не колготись. Толком рассказывай! Где беда? Какая?

— Ох! Горемычные мы! И твою головушку не помилуют...

— Ты, бестолочь, не тяни жилы!

— У сваты-то Натальи...

— Опять на скотном?

— Ой, там, родимый, опять там...

Федосий не стал больше расспрашивать, как молодой, легко вскочил на ноги, отчего пролётка застонала, заходила ходуном, и изо всей мочи стал нахлестывать лошадь.

На скотном дворе вместо тусклых лампочек были ввёрнуты большие, стосвечовые. Яркий свет освещал бревенчатые, в старой побелке стены, затоптанный, нескоблёный пол. Коровы, возбуждённые этим непривычным светом, все до единой поднялись, тревожно оглядывались на сгрудившихся людей, негромко мычали. Заведующий молочной фермой Трифон Куницын свирепо и в то же время трусливо ругался, не стесняясь скот-

ниц, вспоминал и бога и мать. Заметив перешагнувшего через порог Федосия Савельича, сразу же, споткнувшись на полуслове, сник — знал, что старик не выносит матерщины.

Перед председателем расступились. Одна из новых коров, по кличке Влага, лежала на свежей, поверх истоптанной подстилки, соломе, как отдыхающая собака, уронив вытянутую вперёд голову. Дышала она порывисто, поводя боками, судорожно вздрагивая кожей спины. Крупный глаз, направленный на людей, влажен, ресницы по-человечьи слиплись мокрыми стрелками, мелкая слезинка медленно пробиралась по жёсткой короткой шерсти носа.

Все удивились спокойствию голоса Федосия Савельича. Он спросил коротко:

— Овёс?

— Не давали овса, Савельич! Пропади он пропадом, овёс этот!.. — сыпанула плаксиво скотница Наталья, отнимая от глаз захватанный кончик платка.

Куницын перебил её:

— Хуже. Сеном накормили, тем, что из Люшнева привезли.

— Так, так, не овёс...

Федосий Савельич, жмурясь от яркого света, — без того узкие глаза стали, как щёлки, — по-чужому бесчувственно разглядывал большую корову. Он не ругался, не прятал свой гнев. И то, что гнева не было, это всем стоящим рядом казалось сейчас страшным.

Куницын, снизив голос, пояснял торопливо:

— Из тех стогов, Савельич, что залило... Помнишь, песок в сено нанесла вода. Песок и ил. Поганое сено. На подстилку привезли. А эта есть, видно, его стала.

— Знатьё, да разве ж я бы... — всхлипнула Наталья.

— Молчи! — цыкнул на неё Куницын.

— Так, так, верно... На подстилку оно гоже... — повторил председатель.

— Что? — уже совсем испуганно переспросил Куницын.

Женщины замерли.

Куницын, не дождавшись ответа, снова, захлёбываясь от поспешности, заговорил:

— За врачом сразу же послали... Иван на грузовике поехал... Как ты с ним разминулся?..

— Так, так... Не встретился, нет... Разминулись...

Вдруг Федосий Савельич с какой-то беспомощной убедительностью выдал:

— Зарезали вы меня... без ножа...

Качнувшись, он отошёл, опустил на край навозной тачки, подставив под взгляды широкую, пухлую спину, обтянутую выгоревшим пиджаком. Все увидели, что эта спина вздрагивает, седая, коротко остриженная голова председателя опускается всё ниже и ниже. Он не сумел выйти и спрятаться, плакал на людях.

Скотница Наталья тоненько, боязливо прикрывая рот концом платка, завывала...

Корму нет. Даже трава на этот раз не спасает. До первого сена ещё не близко. Болезни среди племенного скота становятся изо дня в день обычным явлением. Падёж в колхозе Мургина, случай падежа в колхозе «Искра»... Появились недовольные, многие сомневаются: а правильно ли действует он, Павел Мансуров?

То, что он сделал и продолжает делать, нельзя назвать иначе, как атакой. Может, он поспешил, может, слишком горячо рванулся, но дело сде-

лано — в атаке на полдороге не останавливаются. К тем, кто хочет залечь на полпути, надо относиться без жалости.

В обкоме, думалось Павлу, пока ещё в него верят. Всего несколько дней назад в областной газете упоминалась его фамилия как пример инициативности и решительности. А если случаи падежа будут продолжаться, то в первую очередь обком, затем все, кому не лень, начнут бросать упрёки: «Хвастун! Беспочвенный, наглый авантюрист!» Добро бы только упрёки... Падёж каждой головы — убыток в несколько тысяч рублей, да, кроме денег, племенной скот — это надежда на зажиточность, это мост к будущему счастью. И если этот мост рухнет по его вине, не жди прощения — отберут партбилет, возможен и суд. Он, Павел Мансуров, заставивший говорить о себе, уважать себя, рухнет в грязь вместе со своими высокими мечтами, с широкими замыслами.

Идёт атака, он впереди! Велик риск, но оглядываться и сомневаться поздно. Не место колебаниям!

О том, что в колхозе «Светлый путь» пала вторая корова, Павел Мансуров узнал утром, а в полдень к нему в кабинет явился сам Федосий Мургин.

Держался он прямо, казался даже выше ростом, только лицо стало словно более плоским. Когда он опустился без всякого приглашения на стул, Павел заметил перемены: плечи сразу обвисли, под глазами — потные тяжёлые мешки.

С минуту Мургин молчал — после лестницы не мог отдышаться, — глядел в сторону, наконец начал тихим, но внутренне напряжённым голосом:

— Суди, Павел Сергеевич... Вот как случилось.

Усталые глаза из-под нависших век встретились с отчуждённо холодным взглядом Мансурова, отбежали в сторону. Мансуров молчал.

— За последние дни вот оглянулся я назад, — продолжал тихо и осторожно Мургин, словно шёл по натянутой верёвке, — и увидел — глупая у меня была жизнь, длинная и глупая. Одно интересное в ней — колхоз... Из шестидесяти пяти лет — эти двадцать...

— Короче, Федосий Савельич. Разжалобить надеешься? Надежды напрасные.

Мургин вгляделся в Мансурова — вытянутая шея, отвердевшие скулы, губы жёстко сжаты, пропуская слова, шевелятся неохотно — и вздохнул.

— О жизни говорить хочу, а коротко-то о жизни нельзя... Так вот, кроме колхоза, у меня ничего. Оставить мне колхоз, не пугая скажу, — смерть. Куда я?.. Просто ворочать рядовым — стар, даже на прополку с бабами ходить не гош. Для другой какой работы не способен. Одно остаётся — ложись под образа да выпучи глаза...

— Прямо! Без подходов! Боишься, что с председателей снимут?

— Боюсь, Павел Сергеевич. Боюсь, как смерти.

— А ты думаешь, если председатель смертельно боится слететь со своего места, мы из жалости доверим ему колхоз? Он не может научить скотниц и животноводов уходу за скотом, он не успевает во-время приготовить корм, он допускает падёж — всё это пусть, лишь бы не боялся, сидел прочно на стуле.

— Павел Сергеевич! — Мургин поднялся, грузный, приземистый, с угрюмым взглядом узких глаз. — Коль я боюсь больше смерти уйти с председателей, значит я врос, значит я после такого урока костями лягу, а всё выправлю, вытащу колхоз, людей подниму. Не жалости прошу — поверить! Как человеку поверить, как коммунисту!

— Как коммунисту?.. Ты делами подмочил своё слово коммуниста! Простить, по головке погладить? Чтоб другие нерадивые глядели на это и радовались — ничего, мол, в райкоме добренькие сидят, всё спишут. Не-ет,

защищать тебя не буду! Буду настаивать, чтоб сняли с председателей, немедленно!.. И это не всё. Мы партбилет попросим показать!

Мансуров стоял против Мургина, тонкий, подобранный, красивый, кудри упали на брови, глаза большие, тёмные. Мургин — рыхлый, вялый — осел на стуле, подставил под взгляд Мансурова седое темя.

— Мне шестьдесят пять лет, — медленно заговорил он в пол, — а после такого... Павел Сергеевич, две коровы, пусть самых породистых, ведь не дороже они человека. Всё сломается у меня! Всё!

— Не в коровах дело! Прости тебя, другие спустят рукава. Нет, не обессудь, в следственные органы заявим, районную газету заставим кричать о твоём ротозействе... Да как тебе не стыдно, товарищ Мургин, оглянись — пришёл милости выпрашивать...

Мургин с усилием поднялся.

— Верно... Стыдно...

Его кожаный картуз упал с колен. Мургин этого не заметил, наступил сапогом.

— Стыдно... — ещё раз сипло повторил он, хотел что-то добавить, но, судорожно глотнув воздух, махнул рукой. Сутулый, вялый, шаркая подметками по крашеному полу, пошёл к дверям, в дверях ударился о косяк плечом...

У Павла шевельнулась жалость: «На самом деле, ничего не останется у человека...» Но он решительно отвернулся от бережно прикрытой двери. «Нечего раскисать. Тем сильнее другие задумаются, коль такой, с двадцатилетним стажем, скатится».

На полу, примятый сапогом, валялся вытертый кожаный картуз Мургина. Павел поднял его, положил в угол, на сейф: «Вернётся — возьмёт».

Но Мургин уже не вернулся...

На другой день рано утром в Погребное, прямо к конюшне, без пролётки, в расклевшином хомуте, с волочащимися вожжами пришла Проточина — старая, смиренная кобыла, возившая председателя. Из Погребного высыпал народ, стали прочёсывать лес...

Федосия Мургина нашли лежащим под берёзой, уткнувшимся лицом в прелую прошлогоднюю листву. Сук берёзы сломался под грузным телом, но длинная сыромятная супонь, снятая с хомута Проточины, крепко врезалась в толстую шею.

## 16

Жил и не замечал, что был до отказа счастлив, не ценил этого, считал — так и должно быть, не иначе. И вот сорвалось, нелепо, глупо!.. Последние события, даже смерть малознакомого Мургина, не взволновали Сашу — всё заполнила своя беда, не оставила места другому.

Надо пойти к Кате, надо встретиться с ней. Пойти — значит рассказать, признаться. Признаться! Но ведь это же плюнуть ей в душу. Разве можно потом надеяться на прощение! Тут не оправдаешься, сам же себя за это презираешь.

Настю он сразу же резко оттолкнул от себя, и та, обиженная, сердитая, встречаясь, надменно отворачивалась. А сегодня подошла и, поджимая губы, тая в глазах ядовитую насмешку, сообщила:

— Ты что ж коршуновскую цыганочку не наведишь? Иль напрочь от ворот поворот дала?..

Саша не захотел разговаривать, повернулся, пошёл от Насти. Но та крикнула ему в спину:

— Зря мучаешься! Ты для неё мелка рыбёшка. На матёрую щуку крючок точит!

Ушёл за деревню, в поля. Стынул красный, злой закат — к ветру, должно быть. А па другом конце неба поднялась луна. Она, казалось, весь день пряталась от солнца в реке, выползла сейчас бледная, вымочен-



ная. Кусты, пышно взбитые, ещё не потеряли дымчатой весенней лёгкости, издали кажется — улеглись отдохнуть на землю пагулявшие по небу облака.

И так трудно найти себе место, а тут ещё Настя... Что она хотела сказать этим? Катя, может, сама всё узнала? Узнала — и решила порвать. Она горда, от одной обиды готова такое натворить...

Он прячется, ведёт себя, как трус. Что ни день, то непонятней для Каги его поведение. Что ни день, то глубже тонешь. Нечего выжидать. Надо идти к ней, всё сказать, просить прощения, без гордости! А там, как хочет...

Не заворачивая в деревню, Саша направился к шоссе...

Невысокий домик, сквозь кусты — свет из окон, расхлябанная калитка в оградке, к ней ведёт выбитая неширокая тропинка; отступив в сторону, стоит старая липа... Знакомое место! Раньше было родным, теперь от большой вины роднее оно в тысячу раз.

Вот где-то здесь, за кустами, за окном, — Катя. Она живёт, она существует на свете. Не легенда, не вымысел — по этой самой тропинке недавно прошли её ноги, за шершавую ручку у калитки бралась её рука...

Саша осторожно открыл калитку, шагнул во двор. От неизвестности на какое-то мгновение застыло сердце: «Как-то встретит? Что-то скажет?..»

Между кустами красной смородины и бревенчатой стеной легко пролезть к окну. Приезжая неожиданно из колхоза в село, Саша всегда стучал в крайнее окно — чуть-чуть, два раза. Рядом с этим окном катин столик...

Окно было задёрнуто, но между занавеской и косяком — щель... Саша припал к стеклу, увидел знакомый кусочек маленького письменного стола: толстая потрёпанная книга, на ней — руки, её руки! С тонкими запястьями, сухими маленькими кистями, они сейчас выражают покой и задумчивость. О чём же задумалась Катя?.. Только оконное стекло да занавесочка отделяют от неё. Катя, Катя... Саша легонько стукнул. Руки на книге дрогнули, замерли тревожно, но с места не двинулись — прислушиваются... А сердце стучит так оглушительно, что, наверное, слышно в комнате. Катя, Катя!.. Руки слабеют, распускаются, всем своим видом говорят — послышалось.

Саша стукнул ещё раз. Руки сорвались с книги. Занавеска откинулась, и, глаза в глаза, через стекло Саша увидел лицо Каги.

— Катя, — позвал он беззвучно.

Занавеска упала, в расширившуюся щель стала видна часть комнаты, стена со знакомой репродукцией «Синопский бой». Стариковской походочкой проплыл мимо картины катин дед.

Спотыкаясь, цепляясь за кусты, Саша бросился к двери.

Долго, долго не открывалась дверь. Бесстрастная, поблёскивающая в свете луны кольцом — никакой жизни за ней. «Где же Катя, да услышала ли? Догадалась ли? Может, просто не хочет выйти?.. Ну, скоро ли? Катя! Катя!..»

Осторожный звук послышался за дверью. Кольцо дрогнуло, повернулось, стукнуло, и дверь вкрадчиво проскрипела: «З-зде-есь...»

Катя вышла, закутанная в белую шаль, — не видно лица, не видно рук. У Саши сжалось горло, с трудом вытолкнул хрипкое:

— К-катя!.. — и замолчал, разглядывая её, высокую, с опущенной головой, длинные кисти с концов шали свисают к коленям.

Катя, не поднимая глаз, заговорила:

— Хорошо, что ты пришёл. Я должна тебе сказать...

— Катя! Я сам тебе всё скажу! Всё!

— Сказать должна я! — возвысила голос Катя. — Прости меня, но теперь понимаю — я просто была увлечена... Я не любила... Ой, да не всё ли равно!.. Саша, прошу — не ходи больше.

— Катя, выслушай сначала...

— Зачем мучить друг друга... Я теперь по-настоящему люблю... другого человека.— Катя с облегчением закончила: — Вот всё.

Уже из полуоткрытых дверей, из темноты, добавила торопливо:

— Хотелось, чтоб ты понял.

Дверь на этот раз скрипнула резко и испуганно, будто выкрикнула: «Ой!»

Долго качалось кольцо. Ничего не понимая, без мысли, без боли, с какой-то пустотой и в голове и в душе Саша смотрел на это кольцо до тех пор, пока оно не замерло в неподвижности.

У калитки он остановился, привалился спиной к столбу — ослабили ноги. Луна, часа два тому назад бледная, вымоченная, теперь светила вовсю, окрепшая, косорожая, довольная...

Вспомнилось, как в первый раз прощались с Катей у этой калитки. Так же были разбросаны по земле лунные зайчики, так же лениво они шевелились при ветерке... Один зайчик — ласковая голубая ладошка — поглаживал белую кофточку Кати. Только луна была круглей и ещё ярче...

### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

#### 1

Кожаный картуз с головы Мургина лежал в углу кабинета, на сейфе. Мансуров даже забыл о нём — последние дни не сидел за столом: выезжал в Погребное, давал справки следователю, лично присутствовал на похоронах, сам проводил общее собрание колхозников, где выбрали новым председателем молодого агронома Алёшина.

Мансуров забыл о картузе, но о самом Мургине переставал думать разве только глубокой ночью.

Вспоминалась сгорбленная, сразу же осевшая фигура, вялая, шаркающая походка. Вспоминались слова его: «Всё сломается у меня!..» Сиплый голос, обронивший: «Стыдно...» Вспоминалось, как шатнуло его у дверей, ударился о косяк плечом...

Что и говорить, по-человечески жаль мужика. Жаль! Но даже теперь Мансуров не хотел признавать за собой вину. Он всегда может сказать, что не имел права смягчать тон, сглаживать острые углы, удерживаться от упреков, прощать и тем самым давать повод к новой безответственности. Он поступил так, как обязан был поступить!

Но кому эти оправдания нужны? Свершилось недопустимое, будут искать виновника. Непременно заинтересуется обком. Кажется, отольётся эта история... Если признают хоть косвенно виновным, на партийной работе держать не будут. Приклеят ярлычки: «Недостаточно гибок... Отсутствует глубокое понимание людей». Эх, мало пней да кочек, ещё один камень на дорогу!

Мансурову в эти дни вдруг захотелось поговорить с кем-то не просто, а по душам. И он обрадовался, когда к нему вечером заявился Игнат Гмызин. Если кто и друг Павлу, то это он, Игнат. Хотя в последнее время что-то стала стираться их дружба — реже встречались, а если и встречались, то слово, другое — и врозь. Да ещё с Анной натянутые отношения, как-никак Игнат ей родной брат, и это безотчётно, против воли, немного стесняло Павла.

— Вижу свет у тебя... — проговорил привычное Игнат, протягивая через стол руку.

Загорелый, широкоплечий, добротный, голова недавно выбрита, с плавными выступами и округлостями, она лоснится, словно навощённая, так и хочется её погладить рукой. Кажется, люди такого вот типа по своей

природе не могут ни терзаться сомнениями, ни чувствовать растерянность, они постоянно ровны, уверенны, покойны. Шажок за шажком, не торопясь и не спотыкаясь, тянет вверх Игнат свой колхоз. Неудачи с освоением племенного скота, чрезвычайные происшествия, вроде смерти Мургина, — всё это проходит где-то в пространстве, не задевая бритой гмызинской макушки. Павел с тайной завистью разглядывал Игната.

— Рад, что пришёл. Очень рад.

— А у меня дело...

— К чёрту дела! Давай хоть раз посидим да поговорим, как обычные люди, не о кормовой базе, а так, ни о чём, хоть о вчерашнем дождичке. Ты знаешь, Игнат, — тяжело... Тут ещё это с Федосием... Вроде и авторитет у меня, уважение, а ведь приглядеться — один, как перст.

— Почему бы это? Уж не потому ли, что в начальство вышел?

— Не знаю. Кажется, не заношусь, спесью не надуваюсь.

Оба помолчали. Не о делах, оказывается, они говорить разучились. Бывало, когда-то Игнат приглашал Павла к себе на рыбалку — под деревней Большой Лес на озере неплохо ловились в мерёжу караси, — сходились за бутылкой, вспоминали каждый на свой лад фронт. Нынче давно уже по занятости не ездили за карасями, не распивали бутылочек...

Павел хотел было произнести со вздохом: «Ну, какое там дело, выкладывай», как Игнат поднялся:

— Что это у тебя?

Он шагнул, снял с сейфа картуз Мургина. Мясистое, мягкое лицо отвердело, какая-то непривычная чёрствость появилась в нём.

Для самого Павла появление картуза сейчас было неожиданностью. Оба молча минуту, две разглядывали: кожа порыжелела, потёрлась — видать, много лет служил картуз своему неприхотливому хозяину, — козырёк дряблый, тёмный, захватанный — его руками захватан! — внутри околыш засалился от пота, ввевшийся запах пота ещё сохранился. В этой старенькой вещи о н продолжал жить. И обоим, Павлу и Игнату, позавчера только похоронившим его, эти памятки жизни казались странными...

— Оставил... Я прибрал. Отдать потом хотел... И не вышло, — вполголоса пояснил Павел.

— Так, так... Без картуза выскочил, — хмуро обронил Игнат.

— Игнат... ты винишь меня?

— В чём? В этом? Ведь отчитывал ты не с намерением, чтоб он бежал искать верёвку.

— Некоторые, должно быть, подумают...

— Вряд ли...

Снова неловкое молчание. Игнат продолжал вертеть в руках картуз, разглядывал со всех сторон, а Павлу хотелось остановить с досадой: «Да брось ты! Нашёл забаву...»

— Признаться, — Игнат наконец отложил картуз, — Федосия-то хотел пугалом выставить?

— При чём тут пугало? Я одного хотел — чтоб другие серьёзнее к своим делам относились.

— Телега не смазана, воз туго идёт — не конь виноват.

— Ты без загадок...

— Какие загадки. Перегнул ты, Павел, со скотом.

— Слышал. Обычная перестраховка.

— Мне, брат, страховать нечего. Свой скот я накормлю, в тепло поставлю, падежа не допущу, весь приплод сохраню.

— Чего тогда и беспокоиться?

— Не за себя. За Никиту Бочкова из «Искры», за Луцильникова из «Красной зари», за все колхозы беспокоюсь. Врасплох их скот застал.

— Уволь. Как-нибудь мы сами об этом побеспокоимся.

— Кто это «мы»?

— Райком.

— Я член бюро райкома. Почему я должен меньше тебя болеть за район?

Мансуров криво усмехнулся:

— Выходит, не меньше, а больше болеешь. Ничего не скажешь, похвально, очень похвально.

— Смотри — молодой осот легче выдернуть, свежую ошибку проще исправить.

...Нет, что-то треснуло в прежней дружбе. Перебросились о сенокосе, об МТС, которые до сих пор не перегнали тракторных косилок (Игнат и заглянул, чтоб сообщить это), простились сдержанно.

Мансуров думал с раздражением: «Идёшь на риск, а кругом жмутся, оглядываются... Игнат-то, Игнат! Как он не понимает: скот прибыл, распределён, поверни на попятную — подымется страшный шум в области...»

Картуз Мургина лежал на столе. Что с ним делать? Не держать же его у себя. Выбросить? Почему-то не поднимается рука. Отослать старухе Федосия?.. Что тогда подумают в деревне Погребное? От секретаря райкома пришёл картуз покойного председателя — чего доброго, насочиняют ещё историй. Да и картуз-то гроша ломаного не стоит.

Павел сунул его в самый нижний ящик стола, запер на ключ — от посторонних глаз подальше.

## 2

Как и ожидал Павел Мансуров, его вызвали в обком.

Кем он станет, если его отстранят от работы, куда пойдёт? За всю свою беспокойную жизнь он так и не успел получить профессии. Не инженер, не агроном, не учитель, даже офицер такой, что сдан в запас. Где смог бы он устроиться?.. Скорей всего сунут на заведование промтоварной артелью или в сонную контору какого-нибудь пищекома...

Но в кабинет к Курганову Павел вошёл внешне спокойный, голову нёс прямо, с достоинством, от дверей к столу чётко отстучали по паркетному полу каблучки его ботинок.

Через огромные окна ломилось во всю силу пыльное городское солнце. Курганов сидел без пиджака, ворот свежей сорочки расстёгнут на потной шее. Обычно живые, колющие мелкими зрачками, глаза секретаря обкома сейчас глядели из-под приспущенных век устало. И утомлённое жарой лицо Курганова, его веки, коричневые, тяжёлые, прячущие под собой зрачки, и то, что без пиджака он, по-простецки в рубашке, — всё это, как ни странно, успокаивало Павла Мансурова. Не верилось, что этот пожилой (только теперь Павел почувствовал возраст Курганова), будничный на вид человек может перетряхнуть его жизнь. Для этого, казалось почему-то, непременно нужна необычная обстановка и не обычный, а официальный вид обкомовского секретаря.

На красном сукне стола для заседаний, как раз напротив того места, где уселся Павел, стоял большой макет какой-то постройки: стены сложены из игрушечных брёвнышек, крошечный шифер на крыше не отличишь от настоящего, из распахнутых дверок выбегают рельсы, на них — вагонетка, столбы с электрическими лампочками, само строение — два корпуса, приставленные один к другому в виде буквы «Т». Разглядывая макет, время от времени косясь на Курганова, Павел Мансуров стал рассказывать, просто, не волнуясь, не оправдываясь, словно докладывавал не чрезвычайное происшествие, а вводил в курс дела по сеноуборке.

...Кормов мало. Да, это так. Но когда кризис с кормами почти миновал, у Мургина на скотном дворе случился падёж, два раза подряд — несчастье дуплетом. Он, как секретарь райкома, разумеется, не мог смотреть на это сквозь пальцы. Было бюро, он, Павел Мансуров, не скрывает,

выступал резко, а как же иначе?.. Словом, та или иная причина, но, как снег на голову, неожиданно-негаданно трагическая развязка. Оправдываться он не будет. Если обком и районные коммунисты найдут нужным поставить всё это ему в вину — что ж, он примет...

Курганов, слушая, смотрел вниз, и только время от времени веки его медленно поднимались и крошечные зрачки пылливо, ищуще упирались в лицо Павлу. У Павла в эти моменты липко потели ладони, но взгляд он выносил, не сбиваясь с ровного тона.

— А что ж ты тогда пугаешься? — неожиданно спросил Курганов. — Иль всё-таки вину в чём-то чувствуешь?

Павел виновато пожал плечами.

— Человек покончил с собой — испугаешься... А вина, чёрт его знает, может, и есть.

Веки Курганова снова поднялись. У Павла появилось неприятное ощущение, словно к его переносице крепко прижали холодный металл.

— Вина есть. Её не может не быть. — Голос Курганова был так же твёрд и суров, как и взгляд. — За смерть человека нет оправданий. Что говорит твоя партийная совесть? Подскажи сам: какого ты достоин наказания?

Павел молчал.

— Ну!

— Готов на любое.

— Событие позорнейшее! Случай чрезвычайный! Но насколько ты виноват — неясно. Выговор за такие дела не записывают. Исключать — нет оснований. Важно, чтоб ты почувствовал тяжесть на своей совести, как человек и как коммунист...

Павел слушал, глядел на макет непонятной постройки и чувствовал, как мало-помалу сваливается с души тяжёлый груз. «Пронесло. Признал невиновным. Да и с какой стати... Пусть отчитает, его обязанность...»

— Тяжёлый урок, помни! — Курганов поднялся, вышел из-за стола.

Павел хотел уже попрощаться, но секретарь обкома ласково провёл рукой по крыше игрушечной постройки, словно погладил, и сказал совершенно другим голосом:

— Вот ведь не любопытный. Глазами мозолит, а не спросит, что такое.

— Не пойму. — Павел с виноватым смущением вглядывался в макет. — Коровник? Нет. И на свиноферму не похоже...

— То-то! Плохо мы знаем, что кругом делается. Второй год такое сооружение в колхозе у Борщагова действует. Мне эту игрушку прислал — то ли просто в подарок, то ли в назидание: учишь, мол, да других учи уму-разуму...

Павел насторожился: колхоз Борщагова был знаменит. Сам Борщагов — признанный талант-самородок. Его, человека с трёхклассным образованием, не кончившего и церковно-приходскую школу, не раз приглашали читать лекции профессорам в Тимирязевскую академию. Должно быть, опять какое-то нововведение, опять подымут шум газеты. Интересно узнать.

— Это, дорогой мой, не коровник и не свиарник, а фабрика-кухня... Да, да, фабрика! Вот смотри... — Курганов снял шиферную крышу и начал рассказывать о кормозапарниках, о трубах с горячим паром, о машинном отделении. — Словом, в эти ворота въезжает воз, скажем, с соломой, а через час вагонетки развезут корм, на солому не похожий. Борщагов смеётся: гвозди железные можно приготовить, коровы будут есть да обливаться. Удои поднялись. Прокорм одной головы обходится вдвое дешевле. Электричество качает воду, электричество мельчит корма, развозит их. Человеку нужно только остановить вагонетку возле кормозапарной ямы да опрокинуть её.

Курганов, цепко взяв за локоть Павла, усадил рядом с собой и, глядя твёрдыми, радостными глазами в лицо, продолжал:

— Вот на что надо держать курс! Племенной скот есть, есть старая кормовая база — сено, силос и прочее, нам остаётся увеличить её. В этом деле помогут вот такие кормоцеха. Эшелоны мяса, масла пойдут тогда из нашей области, и дешёвого! Твой район идёт в числе первых по освоению племенного скота, он должен первый подхватить и почин Борщагова.

— Кормоцеха... Да-а, вещь завидная,— без особого восторга согласился Павел,— только дорогая, нашим колхозам, пожалуй, не по карману.

— Электричество у вас есть. Это основа. Никто не будет требовать — вынь да поставь завтра готовые кормоцеха. Постепенно обстраивайтесь, но обстоятельно, навек. Только не старайтесь ограничиться обещаниями. Если начинать, то надо сейчас, не сегодня-завтра закладывать кормоцеха...

Поезд, отстукивая на стыках рельсов, уходил от города. Среди пассажиров, ехавших в Сибирь, шла своя налаженная жизнь. Она начиналась до того, как Павел появился в вагоне, и будет продолжаться, когда он сойдёт на своей станции Великой. В купе стучали костяшками домино, смеялись над анекдотами, клевали сонно над книгами...

Павел стоял у окна. История с Мургиным могла кончиться иначе. Он, Павел, должен бы чувствовать теперь облегчение, но нет, легче не стало... У многих колхозов развалились скотные дворы, зимой будет мёрзнуть племенной скот. Куда там кормоцеха! Не по Сеньке шапка. А Курганову не возразишь... Сразу поставит вопрос ребром: «Сил мало?.. Почему тогда хапнули столько скота, почему не рассчитали свои силы?..» Что ответить?..

Тут ещё Игнат... Он, если заговорил, будет теперь настаивать — признайся, что перегнул. Попробуй-ка признаться — грянет гром из обкома, пыль пойдёт от секретаря Мансурова. Скот, бескормицу, даже смерть Мургина припомнят. Тугой узелок завязывается, как распутать его?

За окном проплывали знакомые картины: лениво кружились широкие луга с тихими, пригревшимися на солнце деревеньками, с рыжими заплатками паров, с пыльными дорогами и неизменным страдальцем-грузовичком на них. Иногда виднелись косилки, цветные платья женщин, забравших сено, копны, полусмётанные стога.

Покойная, мирная жизнь кругом. Жить бы вместе со всеми и радоваться. Нет, не получается.

## 3

Молча, ревниво пряча от всех, носил Саша первую в жизни тяжёлую обиду. Пусть эта обида не свела со щёк румянца, пусть не сушила его по ночам бессонница и загибистому словечку, брошенному каким-нибудь бригадиром в правлении, он весело смеялся вместе со всеми, но от этого не меньше было горе.

Настя Баклушина торжествовала. Как-то вечером она подошла к Саше, и тот сам повёл её на берег...

Игнат Гмызин послал Сашу в новую бригаду «Труженика» — в Кудрявино.

С весны до сенокосов — время недолгое. Жизнь в Кудрявине изменилась, но немного. Бригадиром вместо Вязунчика стал Пётр Мирошин, длинный, сухой, с тонкими жердистыми ногами, с острым, словно проглотил сколотый камень, кадыком на тонкой шее (за эту шею и за густой, кричающий голос прозвали его за глаза кудрявинцы «Гусаком»). В колхоз он пришёл в прошлом году из армии, был сверхсрочником, но дослужился только до старшины. Носил жиденькие ржавые усики, постоянно, подкручивал их, сердиться по-настоящему не сердился, а кудрявинцы

побаивались его. Даже в лес бегали реже, может быть потому, что лесная страда — пора грибов и ягод — ещё не настала. Засеяли в эту весну кудрявинцы землю не по-старому: ячменём да пшеницей самую малость, больше подсолнухом, кормовым турнепсом да горохом под зелёную массу. Мирошин каждый день собирал народ рыть силосные ямы. Кудрявинцы ворчали: «Песок ворошим, то-то от этого хлебом разбогатеем...» Но когда в конце каждого месяца из Нового Раменья стали приходиться подводы с мукой (смолотой не на ручных «притирушках», а на пищепроемской вальцовке) и Мирошин по списку выдавал на трудодни, замолчали, стали напрашиваться на рытьё ям... Игнат не на шутку решил сделать Кудрявино животноводческой бригадой.

Когда-то, в давние времена, среди леса лежали глубокие озёра, связанные друг с другом затянутыми осокой ручейками. С годами эти озёра высохли, съёжились, превратились в болотистые «ляжины». В одних летом вода цвела всюючей зеленью, в других даже в самый светлый день она стояла чёрная, дегтярная.

Берега, обсохшие от воды, превратились в небольшие луговинки, по весне заливаемые водой. При единоличном житье каждый хозяин оберегал свой участок, нет-нет да срежет не в меру разогнавшийся куст. При колхозе кудрявинцы запустили эти и без того стеснённые лесами луговинки. Косить почти нечего. Так, кой-где трогали одичавшую, соперничающую в росте с кустами траву, плохую, одеревенелую.

Весь день Саша вместе с колхозниками махал косой, выбирал прогалки. В деревню решили не идти, переночевать тут же, в лесу, завтра добрать, что можно, и уходить совсем. Те жалкие охапки травы, которые удавалось выцарапать из-под кустов, не стоили труда.

На сухом месте разожгли большой костёр, над ним повесили вёдра — в одном варился суп из солонины, в другом — на всю ораву чай. Огонь костра то разгорался, закрывая рвущимся пламенем вёдра, то спадал. Ночь то теснилась в стороны, выдвигая вперёд розовые при свете костра столбы берёзок, то сдвигалась, ревниво прятала их. Тени женщин, хлопотавших около вёдер, при разгоравшемся огне были могучими, срывались в темноту с верхушек деревьев. Они, шевелясь, казалось, перемешивали тусклокрасный лес.

Саша лежал в стороне на охапке свежей травы вместе с бригадиром Мирошиным. Мирошин, откинувшись на спину, уставив в неясно мерцающее звёздами небо острые колени, говорил сипловато:

— Просмотрел я все их бумаги... Лугов сто десять га числится. Сто десять! Да! А скашивают их здесь — ей-ей, не соврать — от силы гектар пятьдесят. Те, что лежат под самой деревней. Да! Планы-то им спускают из какого расчёта? Само собой, из расчёта ста десяти.

— Сколько сумеем скосить, столько и скажем...

— Скажем?.. Эх, ты, молодой да горячий. Вот возьмут тебя за загривок и начнут трясти: почему планы не выполняешь, почему не всё скосил? Сто десять гектар по плану, а у тебя сколько?.. Что скажешь?

— То, что есть, и скажу.

— Ну, ну, говори. Ты ведь правлением поставлен руководить здесь покосами. Да! Моё дело — ямы силосные, уход за полями.

А у костра, угнездившись среди женщин, бывший кудрявинский бригадир, теперь просто рядовой колхозник, Саввушка Вязунчик детским голоском задушевно (верный признак — побывальщину хочет рассказать) рассыпался:

— Нашу травку, братцы мои, надо умеючи брать, сноровки одной мало... Вот слышали, как кузнец Дёмка Крюков косил? — Вязунчик по-бедно поворачивал вправо-влево сморщенное, плачущее от дыма лицо.—

Ты-то, Дарья, должна помнить Дёмку-то... Так вот этот Дёмка одну траву знал. А называется она «тумка»...

— Ну, держи, бабы, подолы, пойдёт Саввушка сыпать.

— Как жеребец хороший, только вожжи опусти...

— Да пусть треплется. Всё одно ждать.

— Валяй, Савватий, слушаем.

— Так вот,— переждав, пока стихнут голоса, тем же задушевым родниковым голоском продолжал Саввушка,— есть такая травка, на вид, ну, самая что ни есть неприметная. Её-то, братцы мои, Дёмка-то и узнал... А как узнал? Это, братцы, история... Раз как-то он лежит у своей кузни, должно быть, квасу напился, животом переживает. Вдруг видит, едет по дороге хургон, на передке цыганка старая сидит, трубку курит, вожжами правит; за хургоном гусенятами цыганёнки бегут. Приостановила лошадь цыганка и просит: «Подкова отпала, подладь, красавец. Заплачу, не обижу». Долго ли Дёмке при сноровке-то: лошадь выпряг, копыто промеж ног, тюк-тюк — и готово. «Плати, говорит, ведьма». Цыганка-то хватя с земли пук травы и подаёт: «Вот, мол, держи». Дёмка за молоток да на неё: «Смеяться надо мной, растуды тебя, карга старая!» А та его за руку придержала да на ухо — шоп, шоп, и смяк Дёмка. Так-то, братцы мои... Уехала цыганка с цыганятами, Дёмка взял ведро, травы той нарвал, водой залил и прямо в кузне сварил... И вот, братцы мои, сковал он себе косу... А ковал её так: накалит, вынет, аж светло в кузне, да в ведро со словами, в навар тот самый... Семь, что ли, раз так-то. Накалит и окунёт, накалит и окунёт... Пошёл он в лес со своей косой. Махнёт — будто сквозь воздух, через деревину коса пройдёт, куст так куст, берёза так берёза — всё не мешает, не цепляется коса-то, а трава самая маленькая ложится, ну, чисто под бритвой. И не тупилась коса-то. Перед смертью Дёмка нет чтоб в общество отдать — в реку косу бросил. Сказывают: на том месте три дня вода ключом кипела... Вот дела-то какие...

Саввушка торжествующе оглядывался кругом.

— Ты видел косу-то, что ль?

— Он Дёмке ковать помогал.

— Дёмка ковал, он нашёптывал...

— Нашептать может не хуже цыганки.

— А с цыганами однова вот какой случай был. Я в ту пору малолетком бегал...

Саша устал от непривычной работы, сейчас в каждой косточке — сладкая ломота, руки свиновые лежат вдоль тела; великое наслаждение лежать вот так, не двигаясь, вдыхать смешанный с сыростью запах дыма, думать о своём под захлёбывающийся от торопливости (чтоб не оборвали) голос Вязунчика.

Катя отодвинулась сейчас далеко-далеко; в прошлом она, в другом мире. Незаметно поднимаясь за деревьями луна запуталась в чёрной хвое высокой ели, так и остановилась там. Над лицом ноют невидимые в темноте комары, десяток — молодых, писклявых, один — басовитый, матёрый. Он всё время прилаживается сесть на висок Саше — то-то бы наслаждение пришибить надоедливое, но тяжела намахавшаяся за день рука, не поднять её.

Мысли Саши лениво кружатся около кудрявинских покосов. Строго судить, их нет в этой бригаде, наглухо заросли. Мирошин, чудак, беспокоится: станут спрашивать, почему не скосили. А какой тут спрос, когда косить нельзя... Завтра же отпустит всех косцов в деревню, пусть Мирошин использует их, куда нужно. Доложит Игнату Егоровичу...

Тянутся мысли неторопливые, дремотные, мысли отдыхающего человека. Накинуть бы на себя ватник, поверх ватника плащ, подтянуть колени к подбородку и уснуть... И чего это там долго возятся с ужином?



Наконец рассказ Саввушки оборвался. Сашу и уже успевшего задремать Мирошина позвали к костру.

Саше, сонному, растрёпанному, отчаянно жмурающемуся после темноты на огонь костра, подали на колени глубокую миску густого, дымящегося супу. Суп чуточку отдавал болотной тиной.

Костёр угас. Косцы носили траву охапками, укладывались спать. Саввушка Вязунчик, устроившийся в кустах, ворочался, треща ветвями, шумел:

— Бабоньки! Холодно одному, шли бы ко мне, гуртом спинку погрели.

— Велика ли корысть от тебя, кабы помоложе был.

— А ты иди, Марья, узнаешь, есть ли корысть. Я б тебя погладил, мяконецкую.

— Уж спи, старый козёл, отгладил своё. Небось, молоденькие-то голос не подают.

Сладкие зевки, кашель, ворчание, женский затихающий шепоток.

## 4

После лесных покосов даже деревня Новое Раменье кажется оживлённой. Стучат топоры на стенах нового скотного двора. Там же сгружают с машины кирпич. Бригадир строителей Фунтиков, подсмывая на тощем животе штаны, сердито кричит на девчат:

— Я те брошу! Я те повольничаю! Как ребёночка, кирпичик клади!

Бродят загорелые, испачканные мазутом трактористы, слышится стук мотора за домами... Шумно. Вот что значит центр колхоза, а не дальняя околица Кудрявино.

Саша всего неделю не был здесь, а его уже встретили новостями.

Когда уходил в Кудрявино, все были озабочены — у племенных коров стали гноиться глаза, да и молоко от них нехорошо пахивало. Ломали головы — что да как?..

Секрет же оказался прост: плохо прибирали кормушки, новые порции силоса валили в объедки. Теперь кормушки три раза на день моют...

Саша знал, что многие коровы, которые прежде отворачивались от травы, стали охотно есть кошенный клевер. Но до сих пор из-под ног на выпасах траву не брали. Крепка, видать, привычка — жить на том, что подносят. Игнат Егорович установил премию той скотнице, что первая приучит своих коров пастись на воле..

Игната Егоровича Саша застал в его «закутке» — так называли бригадиры председательский кабинет, угол в одно окно, отгороженный дощатой переборкой.

— Только вспоминал тебя. Ну-ко, с ходу рассказывай, как там, в Кудрявине, разворачиваются?

Саша рассказал: заросло больше половины покосов, что не заросло — выкосили, людей отпустил на другие работы.

Игнат Егорович озадаченно крякнул.

— Так и знал.— Вынул из стола бумаги.— Отчитываться надо, а как? Из-за Кудрявина мы, выходит, не докосили шестьдесят гектаров.

— Сообщить надо, что заросло.

— Кому? Знают. У многих позаросло.

Игнат Егорович взял ручку, задумчиво обмакнул её в чернила.

— Хошь не хошь, а придётся докосить пёрышком по бумаге.

Саша видел, как на синем шершавом бланке Игнат Егорович поставил число и вывел твёрдую цифру — 60.

— Игнат Егорович! Ведь это же обман!

— Обман, Сашка, обман. Подписываю и чуть ли не фальшивомонетчиком себя чувствую.

— Не пойму... Зачем же тогда?

Игнат Егорович отодвинул в сторону бумаги, положил на стол тяжёлые, с набухшими венами руки и, встретив недоуменный взгляд Саши, заговорил:

— Хотелось бы, чтоб ты таких штук не знал. Очень хотелось! Но жизнь есть жизнь, и не след от неё прятаться. Те люди, которые меня контролируют, цифрами привыкли питаться. Поднеси им не ту цифру, всполошатся, начнут забрасывать к нам в колхоз бумаги, телефонограммы, одну другой грозней. Почему не выполнен план? Подводите район! Подрываете колхоз! Втолковывать, что район мы не подводим, колхоз не подрываем, план в конце концов от этого не страдает,— бесполезное дело. Дай им нужную цифру, иначе не будет видимости, что всё благополучно.

— Так лучше обман? Перед собой же стыдно!

— Хорошо, буду совестливым, упрусь. Меня начнут таскать по заседаниям, по совещаниям, указывать пальцем. Ну, это ещё полбеды. Перестанут доверять, пришлют уполномоченных, тех, для кого цифра — бог. Они по пятам начнут ходить, указывать, сдерживать, руки свяжут. И всё это из-за маленькой цифры. Не напиши её или напиши, покриви чуточку или выдержи правду — всё равно от этого кудрявинские покосы не очистятся от кустов, сена с них не прибавится и не убавится. Если б вредило, мешало жить — кровь из носу, а воевали бы. Ни попрёки, ни уполномоченные, поверь, не испугали бы. А сейчас — чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.

Саша сидел растерянный и подавленный — всю жизнь приходилось слышать: будь честным, прямым, не криви душой... Как-то не сходится, непонятно...

Игнат Егорович долго вглядывался в Сашу, с виноватым вздохом обронил:

— Что и говорить, неладно... Цифре больше верят, чем человеку.

Разговор этот Саша скоро забыл. До него ли...

Пастух, по прозвищу Незадача, весёлый старик, горький пьяница, узнав о премии, каждый вечер приходил из деревни Большой Лес, вваливался в председательский закуток, начинал надоедать Игнату Егоровичу:

— Что там премия! Ты мне косушку поставь да разреши своих породистых пустить в моё стадо, не траву — кур шипать будут. Эко, незадача!

Приставал до тех пор, пока не решились испробовать — чем чёрт не шутит. И верно, через несколько дней племенные коровы в стаде Незадачи паслись с таким же усердием, как и местные.

Премию самому Незадачке не отдали, а выписали на имя его старухи. Но Незадача своё вытянул, два вечера подряд ходил козырем перед правлением, восхищался собой:

— Я слово знаю! Профессоров в коровьем деле забью! Егорыч! Эй, председатель! Ты мне верь! Мы с тобой хозяйство, как балалаечку, настроим. Не жизнь у нас — плюсовая будет!

## 5

До поздней ночи в здании райкома партии, в центре над входом, во втором этаже, ярким жёлтым светом светятся два окна. Сейчас в них мелькает тень, иногда же оттуда доносятся голоса, иногда там тихо, только строгий ясный свет обливает телеграфный столб, подымающийся у крыльца.

Если на улице было пустынно и никто не мог её видеть, Катя останавливалась, прислонялась плечом к оградке, смотрела со стороны на окна.

Там, за этими окнами, — он!

Всего один раз слышала Катя от Павла Сергеевича, что она тот человек, который сможет понять, оценить его, что они оба родственны духов-

но... Один-единственный раз он держал её за руки, жёг, угрожал, ласкал глазами. Та памятная встреча во время дежурства в райкоме перевернула жизнь Кати.

После неё приходилось встречаться на людях. Перебрасывались взглядами, незначительными словами... Но даже слова о молодёжных кормо-заготовительных бригадах, произнесённые его голосом, обращённые к ней, были для Кати подарком.

Один раз она принесла ему список комсомольских докладчиков. Павел Сергеевич был один в кабинете. Он долго смотрел список, хмурился, Катя стояла рядом и робела. Наконец он поднял голову, взял Катю за руку и произнёс:

— Как неуютно устроена жизнь.

В это время за дверями кабинета послышалось движение, и Катя, оставив на столе Павла Сергеевича список, выскочила, едва не ударив головой входившего Сутолокова.

Она потом долго думала над этой странной фразой. Что он понимал под словом «неуютно»? Наверно, то, что много домов в селе, велики поля вокруг Коршунова, а для них нет места, чтоб встретиться, чтоб перекинуться наедине словом. Не может же Павел Сергеевич прийти в дом к Кате, и сама Катя перестала навещать Анну. Встречаться где-нибудь на берегу или в роще, как коршуновские ребята и девчата, вовсе неудобно. Павел Сергеевич не мальчик, видный человек, да к тому же женатый! Что подумают люди, какие сплетни после этого повяжутся!

Минуты, когда Катя, прислонившись к забору, глядела на окна, заменяли ей свидания. Что только не думала, о чём не мечтала она тут!

Дед Кати постоянно повторял: «Не по пословице наша семья — она без уroda. У Зеленцовых перед людьми чиста совесть».

Бабка Кати, как и Аркадий Максимович, работала в школе, умерла от приступа грудной жабы, так и не закончив своего последнего в жизни урока.

Мать Кати была врачом. В одно жаркое лето в удалённом Верхнешорском сельсовете вспыхнула эпидемия дизентерии. Мать выехала туда, сама схватила заразу. Сказалась утомительная работа по восемнадцати, по двадцати часов в сутки — не перенесла болезни. Матери тогда было двадцать два года, Кате — три.

Отец Кати погиб зимой сорок второго на Сталинградском фронте.

Сам дед, Аркадий Максимович, проработал в школе около тридцати лет...

Катя вместе с ним гордилась своей семьёй и мечтала, как о величайшем счастье, отдать свою жизнь на что-нибудь необыкновенное. На подвиг, несущий людям пользу.

Но что она может, девчонка, без особого таланта, не выдающаяся умом? Ей ли совершать необыкновенные дела? Если б случай какой... Но случая нет, жизнь кругом ровна и буднична.

Только в последнее время, глядя на освещённые окна, Катя жила новыми надеждами, чувствовала новые желания.

Там, за знакомыми окнами, сидит не просто близкий человек, любимый ею, нет, там человек, создающий жизнь. Как знать, может, именно в эти минуты он решает важный вопрос для засыпающего села, для разбросанных по лесам и полям деревень, для тысяч людей, живущих в них, для учителей, колхозников, шофёров, детишек... Для всех. Всем хочет он счастья!

Слышно: ребята идут с гармошкой из рощи, старый конюх райисполкома ругается во дворе с уборщицей из-за лопаты, всё обычно, никто не думает о том, что делается за этими окнами, кто там сидит. Он же помнит о них, это его обязанность!

Вот сейчас в окне мелькает тень. Он ходит по кабинету, размышляет.

Подтянутый, плечистый, голова в густых курчавых волосах всегда горделиво вскинута, лёгкая, сильная походка,— даже вспоминая, любишь себя им. Партийный вожак района! И человеческая красота и величие будущего, всё, что с пионерского возраста волнует душу,— всё в нём! И он, кажется, любит её... Любит! Это её великая гордость, великая радость!

## 6

Из обкома пришло письмо. Павел Мансуров давно его ждал. Кратко описывались выгоды и достоинства кормоцехов, рассказывалось о том, как у Борщагова в колхозе такой кормоцех повысил доход, говорилось, что почин должен быть подхвачен во всех районах, строительству кормоцехов уделено достойное внимание и т. д. и т. п.

Письмо привычное, но Павел Мансуров, прочитав его, начал ходить по кабинету, раздумывать...

Кормоцех — полезная вещь. Можно верить — немалые доходы получает с него Борщагов.

Но в колхозе Борщагова ворочают миллионами. Скотные дворы у них давным-давно механизированы, давным-давно построены водонапорные башни, проведены водопроводы; всё было в хозяйстве, не хватало только кормоцеха, и его построили. В коршуновских же колхозах часто проблема, как перекрыть крышу на телятнике.

Труд не велик: выбрать место, подвезти лес, закупить материалы, сообщить — кормоцех заложен. А дальше?.. Наверняка эти кормоцеха будут стоять недостроенными, наверняка в старых, дырявых фермах зимой будут болеть племенные коровы. Все б силы на ремонт этих ферм бросить, на постройку новых. Планы, расчёты, всю жизнь коршуновских колхозов могут запутать эти кормоцеха.

Однако скотные дворы — вещь обычная, ими никого не удивишь. Кормоцеха же — дело новое, подхвати его, сразу станешь на виду, все заметят, какой ты деятельный!

На красный стол с обеих сторон положено несколько десятков пар рук. Впереди, друг против друга, лежат тяжёлые, большие, простодушные руки Игната Гмызина и костистые, цепкие руки Максима Пятерского. Руки Кости Зайцева, председателя «Первого мая», широкие, красивые, сильные, переплелись пальцами, нетерпеливо мнут одна другую, воют. По ним видно — не нравится хозяину то, что он слышит сейчас. Белые, мягкие, ничего не выражающие ладони председателя из «Нивы» Дудыринцева чинно сложены одна на другой, как у примерного первоклассника. А рядом, словно нарочно подсунуты на отличку, руки Дарьи Терёхиной — не по-бабьи громадные, корявые, короткопалые. Немало переворочали они земли на веку, должно быть, и теперь им легче вымётывать на вилах пудовые охапки сена, чем выводить на бумагах председательскую подпись. На дальнем конце стола — руки безликие, выглядывают из обтрепанных рукавов.

Павел Мансуров докладывает о необходимости развернуть строительство кормоцехов по колхозам и не глядит на лица... Говорят, что по рукам легко отгадать характер человека. Ой-ли! Руки Игната Гмызина самые простодушные из всех, а Игната-то Павел Мансуров и боится сейчас больше всех.

А вдруг да не только Игнат, все хозяева этих разнохарактерных рук поднимутся стеной против кормоцехов...

Не должно этого случиться! Райком партии за строительство, обком — тоже. Кому интересно навязываться на неприятности? Кроме того, ещё

покойный Комелев крепко-накрепко привил привычку — есть указания сверху, значит надо подчиняться.

Не должны возражать! Только крупные руки Игната заставляют Павла Мансурова быть настороже.

Он кончил, отложил в сторону бумаги и только теперь поднял глаза от красного стола на лица.

Иссиня-белый череп Игната был низко опущен. Сухое, длинное, с хрящеватым носом и резкими морщинами лицо Максима Пятерского казалось невозмутимо бесстрастным, но только казалось. Когда взгляд Павла Мансурова остановился на нём, веки Пятерского с неуловимой поспешностью прикрыли глаза: «Не выйдет, не дознаешься, о чём я думаю...» Большинство председателей избегало глядеть на секретаря райкома, и только с чистого, розового лица Дудыринцева глаза так и прыгали навстречу, ловили взгляд.

Обсуждения на заседаниях, как правило, начинают с общей заминки, минуту-две все молчат. И в эту минуту молчания Павла Мансурова охватила смутная тревога — вот он сидит один против всех, чужой этим людям. Склонили головы, взгляды отводят, — что они думают о нём, какие упреки зреют под черепом Игната Гмызина, под гладко зачёсанными жидкими волосами Максима Пятерского?.. Может, презрение, может, даже ненависть?..

— Разрешите парочку словечек...

Из угла, за председательскими спинами, поднялся Серафим Сурепкин. Рыжеватый ёжик волос повернулся в одну сторону, затем в другую, выцветшие глаза, искренние и детски наивные, обежали присутствующих.

— Товарищи! Мы, как один, должны отдать свои силы на укрепление колхозного строя. Наша задача, товарищи, — поднять животноводство. Наш долг — капля по капле отдать свою кровь за дело процветания...

К выступлениям Сурепкина все обычно относились, как к повинности, — надо перетерпеть положенное время, выговорится, сядет, никому от этого ни холодно, ни жарко. Павел Мансуров ещё при Комелеве недолюбливал безобидного инструктора — такие ли работники нужны райкому! — позже хотел даже освободить его от работы, взять на его место человека боевого, думающего, но не доходили руки, да и сам-то Сурепкин не давал повода к недовольству — был добросовестен и исполнительен.

Но вот сейчас, когда увидел высокую сутулую фигуру, услышал голос с заученными, то повышающимися, то спадающими интонациями, Павел Мансуров неожиданно почувствовал облегчение — этот не скажет против, наверняка поддержит...

А Сурепкин, словно угадывая его желание, каждым своим словом гладил по сердцу:

— Кормоцеха, товарищи, — великое дело. Их строительство — первейшая задача...

Недалёкий человек, он в эту минуту среди угрюмо молчащих председателей, сам того не подозревая, стал другом Мансурову. Павел сдержанно кивал каждому его слову: «Так, так, верно».

Преисполненный скромным достоинством, Сурепкин сел. Поднялся Дудыринцев. Круглый, мягкий, чистенький, с тихим голосом, влезающим в душу, этот председатель всегда первым откликнулся на кампании, всегда давал высокие обязательства, но не всегда их выполнял, жаловался — того не хватает, этого нет, осторожненько гнул линию — отдать государству поменьше, положить в амбары побольше, задабривал и колхозников, умасливал и районное начальство.

— Правильно сказал Павел Сергеевич, что кормоцеха могут спасти положение с животноводством. Я обеими руками подписываюсь под тем, чтоб приступить к строительству...

И Павел Мансуров снова кивал головой: «Так, так, верно...» Но уж выступление Дудыринцева настораживало. Хитёр — так пересластит, что все возмутятся. Будет потом сидеть и пожимать плечами: «Я что? Я придерживаюсь взглядов Павла Сергеевича». А Павел Сергеевич отдувайся...

Так оно и получилось. Дудыринцев, расхваливая кормоцеха, словно мимоходом обронил, что они важнее новых скотных дворов. Это была нелепость. Павел Мансуров не успел возразить, из-за стола поднялся Игнат Гмызин, всем телом повернулся к устраивающемуся на стуле Дудыринцеву и спросил:

— Ты веришь, что теперь строительство кормоцеха принесёт твоему колхозу пользу?.. Можешь не отвечать. Знаю — не веришь! А ты сам, Павел Сергеевич?.. — Игнат повернулся к Мансурову.

— Верю! — с поспешностью ответил Павел. — Да, я верю в пользу, не сейчас, а в будущем.

— В будущем польза? Это не тогда ли, когда наш племенной скот померзнет зимой в неотремонтированных дворах?

Рука Игната Гмызина, выглядевшая до сих пор такой простодушной, сжалась в увесистый кулак, угрожающе закачалась над столом.

— Никто не верит в такую пользу, ни я, ни Дудыринцев, ни ты сам, товарищ Мансуров! Кроме, может, одного Сурепкина... Не верим, а настаиваем, приводим с серьёзным видом доказательства. Только потому, что желательно блеснуть этими кормоцехами перед областью. Что ж это, товарищи, жизнь устраиваем или игру играем? Если это игра, то опасная. Ставка в ней — благополучие всего района. С такой ставкой не шутят.

— По-твоему, выходит, обком игрушками занимается? — не выдержал Павел Мансуров. — С чьего совета мы начинаем?..

— Обком плохо знает наш район, передоверился таким, как ты! А ты запутался и стараешься выкрутиться нечестными путями...

— Мы, кажется, здесь разбираем вопросы не личного характера, — бросил Мансуров сдержанно.

— Где уж личное, когда ты, чтоб выигрышней показать себя перед областью, ставишь на кон животноводство всех колхозов.

Мансуров резко встал, прямой, подтянутый, грудь вперёд, голова закинута, глаза горят тёмным, недобрым огнём, голос ледяной:

— Товарищ Гмызин! Не вносите склочный характер в обсуждение. Иначе я вынужден буду лишить вас слова.

— Не стоит лишать, я уже кончил. Ещё раз повторяю: в нашем положении сейчас кормоцеха — опасная афера!

Игнат Гмызин сел.

Теперь все до единого глядели в лицо Мансурову — одни с испугом, другие с сумрачным торжеством, третьи с любопытством.

— Дайте мне слово, — поднялся Максим Пятерский.

Длинный, узкоплечий, лицо схимника, только седой бородки недостаёт, он вынул распухшую, захватанную записную книжку, не спеша оседлал хрящеватый нос очками, заговорил не торопясь:

— Вот, товарищи, послушайте цифры...

Павел Мансуров уставился в пряжку брючного ремня на тощем животе Максима Пятерского и слушал... Лесу для кормоцеха нужно столько-то, рабочих рук — столько-то, материал, доставка, рубли, копейки, статьи годового дохода... Не хватит на ремонт крыши телятника... Он, Павел Мансуров, не хочет этого слышать, не хочет понимать! Ему понятно одно: кормоцеха — шит, кормоцеха — занавеска, не будет их, придётся предстать перед обкомом голеньким, а после истории с Федосием Мургиным надо быть начеку. Надеялся — не возразят, побоятся. Возразили! Игнат виноват, лезет на рожон. Хорошо же, Игнат Егорович, придётся, видать, всерьёз схлестнуться. Ещё узнаешь Павла Мансурова!

Павел знал: Игнат сильнее других убеждён, что излишек скота — ошибка, что Мансуров перегнул палку и боится открыть это перед обкомом.

Игнат убеждён, что Федосий Мургин не виноват, что его вину раздули.

Наконец, Игнат единственный из всех людей видел в кабинете Мансурова картуз, догадывается о характере разговора, после которого старика нашли мёртвым в лесу. Стоит пожелать Игнату, и история с Мургиным снова всплывёт. Случись такое, к Павлу Мансурову станут уже относиться с предельной подозрительностью.

А то, что Игнат постоянно напоминает о нехватке кормов... А рассуждения его о неготовности животноводческих построек к зиме...

Павел до сих пор успокаивал себя — свой человек, старая дружба своё покажет... При встречах против воли заигрывал, трепал по плечу, заводил разговоры о близости:

— Нас же с тобой не базарное знакомство связывает...

Сам не замечал, что жил какой-то заячьей надеждой — авось не тронет, помилует. Тронул, да ещё как! Перед всеми вывесил: «Выкрутиться стараешься нечестными путями...»

Теперь, вспоминая Игната, Павел Мансуров наливался ненавистью. Ненавидел всё: приглушённый, медлительный басок, щупающий взгляд маленьких серых глаз, до синевы выбритый череп, даже привычку сидеть ненавидел — локти в стороны, кулаки в колени, без того широк, а тут ещё растопорщится. Монумент, а не человек.

Совещание председателей ничего не решило. А время не ждёт. В областной газете что ни день, то информация: такой-то колхоз в таком-то районе приступил к строительству кормоцеха. Коршуновцы медлят, коршуновцы отстают, тянутся в хвосте. В обкоме, должно быть, создаётся впечатление — Мансуров работает спустя рукава...

Второе такое же совещание собирать бессмысленно. Снова председатели встанут за широкую спину Игната Гмызина.

Павел Мансуров начал вызывать председателей поодиночке, разговаривал с ними с глазу на глаз.

— Можно?

Приглаживая ладонью волосы, бочком протискивается Максим Пятерский, сутулится, ищет взглядом, куда бы сунуть кепку.

Павел Мансуров встаёт из-за стола, в вытуженном полотняном кителе, свежесвыбритый, идёт навстречу, протягивает руку:

— Заходи, заходи, Максим. Ну-ка, присядем.

Полуобняв председателя за плечи, тянет к дивану, усаживает, сам садится, закидывает ногу в хромовом сапожке, щёлкает портсигаром.

— Закуривай. По какому вопросу тебя вытащил, ты знаешь?

— Догадываюсь, Павел Сергеевич, — вздыхает Пятерский и отводит горбатый нос в сторону.

Он чувствует — сейчас будет поединок, а выиграть его не легко. Это не на совещании, там и справа и слева сидят такие же, как он сам. Они и реплику подбросят, и взглядом ободрят, и выступлением поддержат — не робей, действуй. Тут — один. Корешки толстых книг виднеются сквозь стекло шкафа, чёрным и коричневым лаком блестят два телефона, один местный, звонить по колхозам и районным организациям, другой — прямой провод в область. Всё значительно, всё напоминает о больших деловых связях, о широком размахе в работе. Павел Сергеевич прост с виду, глядит в глаза без хитрости, но в любое время может подняться и сказать: «Я, как секретарь райкома партии, считаю...» Легко ли возражать?

— Так ты категорически отказываешься от строительства кормоцеха? — спрашивает Павел Мансуров, чуть-чуть нажимая на слово «категорически».

— Павел Сергеевич, сами посудите... — Максим Пятерский поспешно выуживает из кармана свою пухлую записную книжку.

Но Павел Сергеевич не даёт её раскрыть.

— Всё понимаю... Ты думаешь, мне неизвестны ваши трудности? Рабочих рук нет, в кредиты и без того залезли... Хорошо! Решим не строить, отстанем от других районов, признаемся перед областью: простите, нет сил преодолеть трудности...

— Объяснить надо, Павел Сергеевич. Такое-то дело поймут...

— Объяснить? Ты человек в годах, коммунист со стажем. Ты понимаешь, слово «не могу» — не наше слово. Через него приходится перешагивать...

Павел Мансуров, стряхивая пепел на ковёр, покачивая носком начищенного сапога, говорит спокойно, неуверенные возражения Пятерского опрокидывает без усилий. И мало-помалу Максим Пятерский понимает — поединка не получилось, сопротивляться бессмысленно.

— Игнат Гмызин — толковый хозяин, — продолжает неторопливо Павел Мансуров, словно не замечая подавленности Пятерского, — но для меня, близко с ним знакомого (ты же знаешь, мы даже родня), он как человек до сих пор загадка. Вот тебе факт: сам Гмызин просил племенной скот, получил его, а тем, что другие получили, недоволен. Наверно, не раз от него слышал: «Перегнули палку, не под силу набрали...» Сейчас он возражает против кормоцеха, но, я уверен, будет исподволь готовиться к его строительству. Сам построит, а такие, как ты, будете глядеть с раскрытым ртом, удивляться: ну и хозяин, вон как вырвался! Не могу утверждать, но мне кажется, честолюбив мужик, хочет быть первым, боится делить славу. Такое честолюбие — позор для коммуниста...

Через час Максим Пятерский уходил от Мансурова, дав слово начать строительство кормоцеха, унося в душе растерянность.

А через пятнадцать минут в кабинет Мансурова снова просовывалась выгоревшая на солнце кепка, слышался вопрос:

— Можно?

И Павел Мансуров шёл навстречу:

— А-а, Никита Фомич! Заходи, заходи...

Разговор начинался снова.

Игнат Гмызин думает, что колхозные председатели поднимутся вокруг него частоколом. Павел надеется: хватит сил расшатать такой частокол. И всё же он понимал — это ещё не победа...

Этот Максим Пятерский начнёт строить кормоцех: привезёт лес, заложит фундамент, а недостроенный телятник будет стоять без крыши, мучить председательскую совесть... Да к тому же на всяк роток не накинешь платок — члены правления, колхозники непременно станут попрекать: «Неладно поступаешь. Кормоцех нам не к спеху, телятник позарез нужен...» Разве можно быть уверенным, что Максима опять не охватит сомнение? А если охватит, кому он его понесёт? Не секретарю райкома, который не поддержит. Только Игнату Гмызину, не иначе...

Всё тихо пока. Колхозы берут в банке кредиты, заготавливают лес. Тихо... Но искорка тлеет, её не затоптал ещё Павел Мансуров. Где гарантия, что при первом же удобном случае не разгорится снова сыр-бор?

И всё Игнат Гмызин, крапивное семя!..

Пять лет Саша Комелев носил в кармане комсомольский билет. Пять лет — срок немалый, это четверть сашиной жизни.

Две недели тому назад в колхозе «Труженик» было партийное собрание. Собрались: чисто выбритый, лоснящийся, но без привычного добродушия, суровый Игнат Егорович, Евлампий Ногин, навесивший бородку



над протоколом, скотница Мария Гуляева, по-бабьи встревоженно поглядывающая на Сашу, Пётр Мирошин, Фёдор Гуляев, Иван Пожинков, все трое — фронтовики, «гвардия», как называл их Игнат Егорович.

Саша вместе с ними уселся за стол.

Председательствовал кудрявинский бригадир Пётр Мирошин. Встал, крикнул, поглядел грозно на Сашу и объявил:

— На повестке один вопрос: приём в кандидаты партии Александра Комелева. Да!

Попросили Сашу рассказать о себе. В комсомол вступал — терялся, нынче попржежнему трудно говорить о жизни: кончил школу, теперь в колхозе, и вся недолга.

Выслушали, посочувствовали:

— Ничего, парень, дело наживное. Вырастет ещё твоя биография.

Читали рекомендации, спрашивали по Уставу. Приняли единогласно...

Пять лет носил в кармане комсомольский билет, пять лет — больше четверти жизни! Пришла пора с ним расстаться.

Саша сидел в общем отделе райкома, дожидаясь, когда вызовут к Мансурову. Тот должен сейчас вручить ему кандидатскую книжку.

Только что в кабинет к Мансурову вошёл высокий парень, тракторист-трелёвщик из леспромхоза. Он до этого тискал меж колен кепку, два или три раза, наклоняясь, указывая глазами на дверь кабинета, таинственно спрашивал у Саши:

— Не знаешь, друг, там по политике гонять не будут?

Оставшись один, Саша вынул из кармана комсомольский билет, развернул. Билет совсем новенький, словно вчера получил, за шесть лет — ни пятнышка, ни потёртости. Берёг его, на работу с собой не брал, боялся, как бы от пота не пожелтел. Теперь даже обидно — уж очень свеженький, не обжитый. Возраст билета только и сказывается в многочисленных лиловых штампах, да ещё в фотокарточке — мальчишка взъерошенный, нос задран, глаза круглые, как у совёнка...

Саша вспомнил тот день, когда впервые взял в руки этот билет. Секретарь райкома комсомола Женя Волошина вручила его: «Помни, кто ты теперь!» На улице тогда была осень, мелкий дождичек шекотал лицо, булыжник мокро блестел на шоссе, погода не из праздничных. Вместе с Сашей получил билет Пашка Варцов. Они учились в разных классах, имели разных товарищей, даже в ночное, на рыбалку не ходили вместе. А тут вышли из райкома, оглянулись и поняли: никогда до самой смерти уж не забудут этот серенький день, с дождиком, с мокрым булыжником, со словами, которые ещё продолжают звучать в ушах: «Помни, кто ты теперь!» Будут помнить день, будут помнить друг друга. Смущённо улыбаясь, они протянули руки: «Поздравляю...» «И тебя тоже...»

Мать, увидев билет, сказала своё: «Не хватай грязными руками, живо завозишь, глядеть будет не на что...»

Отец подержал билет в руках: «Вот и вырос, Сашка. Теперь ты нам помощник».

Сам Саша не мог успокоиться много дней. Оставаясь один, вынимал из кармана, разглядывал, не уставая: серая обложка, силуэт Ленина, развернёшь — под длинным номером полностью фамилия, имя, отчество. Никогда ещё в жизни не имел документа — этот первый.

И Саша старался себе представить, как будет выглядеть этот билет через много лет. Видел его Саша потёртым, покоробившимся, кто знает — забрызганным кровью, его кровью! Будущее связано с этой книжкой. Как тогда хотелось заглянуть в него! Может, придётся прятать билет в солдатскую пилотку, чтоб переправиться на вражеский берег, может, вода незнакомой реки размочит лиловую печать райкома комсомола, может, горячий осколок полоснёт по груди, вырвет уголок серой обложки...

Через минуту-две получит книжку кандидата партии, комсомольский билет придётся сдать. И обидно, что он новенький, только у краёв чуть пожелтела бумага.

У Пашки Варцова билет, должно быть, выглядит не так. Он поступил в ремесленное, сейчас, слышно, работает далеко, в Новосибирске, жизнь более шумная...

Парень-трелёвщик вышел из кабинета красный, сияющий. Путаюсь в кармане, он с ревнивой суетливостью прятал книжку.

— Спросил, газеты читаю ли,— доверительно и радостно сообщил он.— Регулярно ли их доставляют, перебоев нет ли?..— И добавил шёпотом: — Давай, друг, шевелись, тебя приглашает...

Саша вошёл в кабинет, смущённо поздоровался, замаялся у порога.

— Прошу, товарищ Комелев, проходите.

Павел Сергеевич Мансуров поднялся из-за стола, чуть-чуть склонив курчавую голову на правое плечо, протянул руку, крепко, по-мужски пожал.

— Присаживайтесь.

Саша сел на самый кончик стула. Он, как и только что вышедший отсюда тракторист-трелёвщик, ждал каких-то особых, мудрёных вопросов.

— В институте учишься?

— Да, на заочном, — ответил Саша и похолодел: «А вдруг да спросит, как студента, про эмпириокритицизм, например! Буду плавать...»

— И на каком курсе?

— На втором.

— Когда кончишь, чем думаешь заниматься?

— Как — чем? Буду работать в колхозе.

— А сейчас в колхозе что делаешь?

— Вот на сенокосе работал.

— Кем же ты на сенокосе работал? Простым косцом?

— И простым случается. Правление меня послало в кудрявинскую бригаду...

— Как в этом году кудрявинцы справились?

— Скрывать нечего, заросли у них покосы. Гектаров шестьдесят не пришлось тронуть.

Саша понемногу успокоился — вопросы все были простые, житейские.

— Заросло? А по сводке всё скошено, — удивился Мансуров.

— Что поделаешь, — невольно подражая Игнату Егоровичу, сокрушённо развёл руками Саша, — приходится кривить душой.

— Приписали?

Это слово было подброшено с поспешностью, взгляд Мансурова из официально приветливого стал пристальным, острым. Саша почувствовал неловкость, словно Мансуров его поймал на лжи.

— Да, — ответил он растерянно.

— По инициативе Игната Егоровича Гмызина?

— Да, — снова обронил Саша, чувствуя что-то недоброе.

К счастью, Мансуров на этом кончил с вопросами. Он поднялся, взял из лежащих на столе бумаг коричневую книжку, лицо его стало торжественным, голос звучным:

— Комелев Александр Степанович! С этой минуты вы считаетесь кандидатом в члены КПСС! Надеюсь, что вы с честью станете носить звание коммуниста. Возьмите вашу книжку!

Саша с волнением взял её.

— Разрешите поздравить вас, товарищ Комелев, — прозвучало у него над головой.

Оторвав взгляд от книжки, Саша увидел протянутую руку. Он схватил её, с силой сжал...

На обратной дороге в колхоз Саша не спешил, не гнал лошадь: хотелось побыть одному, подумать.

Встречный грузовик, промчавшийся мимо, как загнанный конь запахом пота, обдал горячим дыханием бензина. Затихая, удалялся шум его мотора за спиной. Лошадь шла ленивым шагом, лениво покачивалась дуга. Саша глядел вперёд и не видел её. Далеки были мысли, покойным ручьём текли они по сашиной жизни...

...Коршуновский дом культуры, над сценой всего только две электрические лампочки. В зале из темноты выступают ребячьи лица, лица родителей... Холодно в одном пиджаке и без шапки. Саша стоит, уставился в темноту зала, поднял руку над головой, повторяет вместе с другими ребятами:

— Я юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей...

В нестройный хор детских голосов влетает шум метели, срывающей снег с железной крыши.

Они кончили. Пионервожатая Галя Пекарева должна была каждому повязать галстук. Но вдруг появился на сцене отец Саши, в высоких валенках, в тяжёлом полушубке, с воротником, занесённым снегом. Он встал посреди сцены, снял шапку, поднял её над головой и сообщил громко и радостно:

— Товарищи! Кончились бои под Сталинградом! Большая победа!

Кричали, хлопали в ладоши. Саша под общий шумок, кажется, даже выплясывал на сцене от радости, но никто не остановил, никто не обратил внимания.

— Вас поздравляю, юные пионеры! — обернулся отец к сбившейся шеренге. — Вы наденете красные галстуки в памятный день!

Закричали «ура». Отец схватил подвернувшуюся под руку Машу Журавлёву, поднял, поцеловал.

Вожатая Галя первому повязала галстук отцу Саши. Тот стоял в растёгнутом полушубке, края галстука лежали на мокром мерлушковом воротнике, лицо, как галстук, красное то ли от радости, то ли от смущения, то ли просто от мороза — почётный пионер.

С того дня, наверно, и начался сашин путь к партии. Ждал: «вот вырасту большим...» Слова «большой», «взрослый» для него не отделялись от слов «член партии». И вот он взрослый, вот он переступил порог партии. Отец теперь сказал бы: «Ты не помощник. Ты такой, как я».

Истомлённая жарой, гнулась к земле почти поспевшая рожь. Парит. Не соберётся ли к вечеру дождь?

Саша вспомнил, как в прошлом году он вместе с Игнатом Егоровичем на этой дороге попал под дождь. Помнится, как тот сорвал с головы кепку, прижал к сердцу, чтоб не замочило партбилет. Мелочь, а вот запала в память...

Игнат Егорович сейчас ждёт... Вчера вечером, после занятий, они вышли вместе на крыльцо, уселись под звёздами. Игнат Егорович курил, хмурился, думал о чём-то своём и, должно, не совсем весёлом.

И Саша спросил: о чём думает?

— О честности, Сашка, — ответил Игнат Егорович.

— Почему это вдруг о честности?

— Не вдруг. Жизнь заставляет.

— И что ж ты думаешь?

— Я думаю, что не тот честный, кто в чужой карман не залез, а тот, кто другого схватил, залезть не дал. Последнее-то труднее. Завтра партийный документ получать едешь, вспомни эти слова.

Вспомнить-то их нетрудно, вот и сейчас вспомнил, но не совсем они понятны для Саши: кого хватать, кто лезет в карман? Мудрит что-то Игнат Егорович.

Игнат Егорович был занят. В его закутке сидел корреспондент областной газеты, донимал вопросами.

У разъездного корреспондента Илья Ромадского первый запал юности уже исчез вместе с густой шевелюрой. Последнюю сменила лысинка на макушке, пока ещё довольно удачно прятанная в остатках чёрных сухих волос. Ромадский начал уже слегка полнеть, но ни живости движений, ни молодой энергии не утратил. Газетной работой дорожил, но продолжал писать лирические стихи про «синеглазое счастье» и «золото волос». И хотя жена его была ярко выраженная брюнетка, она прощала мужу любовь к синим глазам и золотым волосам, так как твёрдо верила в его добропорядочность.

Илья Ромадский считал себя зрелым корреспондентом, мастером собирать материал. В этом деле он придерживался теории, которая заключалась в следующем. В нашей жизни важно новое, нарождающееся, а не старое, отмирающее. Новое в нашей жизни — лучшее. Значит, в первую очередь надо показывать только лучшие колхозы, лучших людей. Худшие же колхозы, худшие люди суть старое, отмирающее, они недостойны внимания.

Поэтому, выезжая в Коршуновский район, Илья Ромадский ещё в городе узнал, что одним из лучших колхозов там считается «Труженик».

Шофёр Никита Шуренков, получивший на станции оборудование к автопилкам, привёз корреспондента в Новое Раменье вместе с его плащом, фотоаппаратом и крошечным, выдавшим виды чемоданчиком.

В шляпе, сбитой на затылок, в потёртом костюмчике, в галстук захватанным узлом Илья Ромадский предстал перед Игнатом Гмызиным.

Ещё не видя председателя, зная о нём понаслышке, Ромадский уже заочно любил его. Как же иначе, когда тот — герой его будущего очерка.

— Придётся вам извинить меня — отниму время. Приехал специально побеседовать с вами...

Каждый новый человек всегда немного смушал Игната, а тут ещё корреспондент, пишущий в газетах. Игнат виновато улыбнулся:

— Не знаю, сумею ли быть умным беседчиком...

Ромадский с ходу оценивающе приглядывался к будущему герою, мысленно представлял, как напишет его портрет: «Коренастый, крепкий, как выросшее на приволье дерево... Умное, русского склада лицо...»

Усевшись в председательском закутке, Ромадский принялся задавать привычные вопросы:

— Как приживается племенной скот?

— Ничего, не жалуемся.

«Председатель Гмызин не из тех, кто любит хвастать своими успехами. Он скуп на ответы...» — мимоходом отметил про себя Ромадский.

— Как с заготовкой кормов?

— Силосу ещё прошлого года хватит, ну и в этом году заготовили. А с силосом и о сене не печалимся.

«...Но по скупым ответам можно судить, в каком прекрасном порядке содержится колхозное хозяйство...»

— Надеюсь, что вы в числе первых приступаете к строительству кормоцеха?

Игнат Гмызин пожал плечами:

— Пока не думаю.

— Как так?

— Нам в первую очередь надо сейчас поставить новый скотный двор с автопилками, с электродоильными агрегатами, словом, со всей механизацией.

— Ну, а кормоцех?

— Преждевременно.

— Отказываться от передового с вашими возможностями! Нет, нет, не укладывается у меня в голове.

— Передовое с куста не сорвёшь, в карман не положишь. Атомная электростанция — вещь более передовая, чем, скажем, ГЭС. Но сейчас в нашей стране строят в широком масштабе гидростанции. Всему своё время, дойдут и у нас руки до кормоцехов.

Игнат Гмызин навалился грудью на стол и принялся терпеливо и подробно рассказывать корреспонденту, почему сейчас колхозу нужней строить механизированные фермы, а не приступать к кормоцеху.

Ромадский вышел от Гмызина в лёгкой растерянности.

Он любил постоянно повторять слова — «глубокое проникновение в жизнь», верил, что с каждым выездом он совершает такое проникновение. Но проникать в жизнь было просто-напросто некогда, ему не приходилось подолгу задерживаться в одном колхозе. Вместо того чтобы самому заметить, самому выяснить, невольно прислушивался к чужому мнению и высказывал, как своё. И это-то соби́рание чужих мнений он искренне считал проникновением в жизнь.

В редакции все были убеждены, что кормоцеха полезны во всех случаях. Убеждён в этом был и Ромадский. Теперь Игнат Гмызин, колхозный председатель, пользовавшийся уважением в области, заявил обратное. Ромадский стал колебаться.

«А что, если развернуться очерком на подвал и факт за фактом доказать — строительство кормоцехов не всюду можно выставлять как первоочередную задачу?..» И ему уже представлялось — очерк вызывает шум, горячие диспуты. Ответственный секретарь Сорочинцев, разумеется, будет против помещения очерка — перестраховщик. Заведующий отделом Корольков любит боевые выступления.

Но одного мнения Игната Гмызина было недостаточно.

Ромадский попросил «подкинуть» его в село Коршуново и часа два спустя сидел уже в кабинете Мансурова, осторожно передавал недавний разговор.

— А вы как думаете, — перебил его Павел Мансуров, — прав Гмызин или нет?

— Я думаю, отчасти прав.

— Отчасти? Гм...

Ромадский поспешил поправиться:

— Пожалуй, даже очень во многом.

— Вы, газетные работники, — начал не торопясь, внушительно Мансуров, — часто глядите на жизнь в увеличительное стекло. Для вас достаточно, чтоб какой-нибудь председатель колхоза пошевелил ногой, как тут же громогласно извещаете: такой-то товарищ идёт твёрдой поступью к коммунизму!

— Не скрою, не скрою, всякое случается.

— Игнат Гмызин — толковый хозяин, умный мужик. За четыре года колхоз поднял — не узнать...

— Вот-вот, я заметил это. Не правда ли, его замечания о кормоцехах не лишены здравого смысла?

— Но это очень сложная личность...

— А на вид, представьте, простоват...

— Этот человек выступает против всеми признанного ценного начинания только потому, что не хочет иметь соперников...

Павел Мансуров вышел из-за стола, принялся ходить по кабинету от стены к столу, говорил громко, уверенно, словно диктовал корреспонденту его будущий очерк. Тот, поджав губы, следил быстрыми глазами за шагающим секретарём, ловил каждое слово.

— В душе он честный, порядочный, колхозники его уважают за принципиальность, но желание казаться лучше, чем есть на самом деле, желание быть первым во всём заставляет Гмызина совершать довольно-таки некрасивые поступки. Всего несколько часов тому назад один колхозник из «Труженника», получавший кандидатскую книжку, сообщил мне, что Гмызин посылал в район дутые сводки.

— Как так?

— Очень просто. Их покосы кой-где позарастали кустарником. Вместо того чтоб выкосить всю траву между кустов, Гмызин просто вписал цифру. Если строго судить, он обманул райком, партию, обманул государство!..

— Простите, как фамилия того колхозника, который сообщил вам этот факт?

— Комелев. Александр Комелев. Сын покойного секретаря райкома Комелева. Неглупый парень. Работает в колхозе, учится на заочном в сельхозинституте. Сегодня я ему вручил партийный документ.

— Так, так, я слушаю...

В этот же день Ромадский покинул Коршуновский район. Дорогой, в вагоне, он был возбуждён, чувствовал в себе творческий зуд.

Он начнёт очерк со встречи с председателем колхоза «Труженник», расскажет, какое произвёл тот на него впечатление — «коренастый, крепкий, как выросшее на приволье дерево... умное, русского склада лицо...» Он не скроет, что Гмызин толковый хозяин, что пользуется уважением колхозников, вызовет вначале к нему восхищение у читателя, а потом штришок за штришком раскроет сущность: честолобив, не желает, чтоб остальные колхозы шли в ногу с его колхозом, выступает энергично против передового, падок на тёмные махинации... Да ведь это же образ, многоплановый, сложный! Удачный подвернулся материал!

## 10

Коршуновская МТС помещалась в старой церкви. Внизу — вагранка и кузница. Там, где прежде был алтарь, за царскими воротами, — кабинет директора. На заброшенной колокольне хозяйничают голуби. На паперти, развалясь, сидят обычно трактористы, шофёры, приехавшие по делам колхозники, передают друг другу кисеты, крутят цыгарки.

Саша приехал договориться о переброске кустореза в кудрявинскую бригаду. Директора не было. Обещал к обеду вернуться. Саша сидел вместе с другими на паперти, слушал ленивые разговоры о травах, о горючем, о подгонке подшипников...

К чугунной ограде, где висела газетная витрина, забранная проволочной сеткой, подошла девушка с кипой газет, не спеша сменила старую газету на свежую, крикнула сидевшим на паперти:

— Чем лясы точить, читать идите! О нашем районе пишут.

Старичок из колхоза «Светлый путь» соскочил первым, подпрыгивающей походочкой направился к девушке.

— Погоди, красавица. Ненужную-то газетку на раскурочку нам оставь. Взял газету, принялся свёртывать и застыл, пригнувшись к витрине.

— Пойти почитать, что пишут, — лениво поднялся один из трактористов.

А через минуту около газетной витрины уже стояла толпа.

Тракторист, низко пригнувшись, выставив зад с двумя удивлёнными глазами заплат, читал вслух:

— «Вдумчивый, расчётливый хозяин, способный организатор, председатель Гмызин всеми силами противится передовому. В чём причины?..»

— Вот что значит начальство против шёрстки гладить.

— Да-а, вlepили мужику промеж глаз.  
 — Тише, черти! Слушайте. Читай дальше, Серёга.  
 — «В чём причины?.. А причины кроются в том, что товарищ Гмызин из сугубо эго... эгоистических расчётов...»

Саша, чувствуя над ухом чьё-то горячее дыхание, весь сжавшись, слушал, слушал и не совсем понимал: что случилось? До сих пор ни от кого не слышал даже слова, даже намёка, что Игнат Егорович нечестный человек, что он хитрит ради своей выгоды. Все относились к нему только с уважением. И вдруг такие упрёки! Без малого враг колхозам. Как всё перевернулось! Где правда? Чему верить?

Спотыкающийся голос тракториста Серёги доходил, словно издаleка, недоуменные, путанные мысли, закипевшие в голове, мешали сразу схватывать смысл. Вдруг Саша вздрогнул — тракторист произнёс его имя и фамилию. Произнёс и споткнулся, замолчал. Стоявшие вокруг Саши люди зашевелились, он почувствовал на себе насторожённые взгляды.

— «...Колхозник Александр Комелев, — продолжал тракторист, — получая из рук секретаря райкома партии товарища Мансурова кандидатскую книжку... кандидатскую книжку, сказал, что не может утаить такой факт... факт, когда председатель Гмызин подсовывал райкому и райисполкому фальшивые сводки...» Эх, мать честна! Выходит, жульничал. Не похоже на мужика.

— Какой факт? Не говорил я! Ничего не говорил! — закричал сердито Саша.

— Помолчи-ко, друг. Опосля петушиться станешь, — обрезал его голос сзади.

— «Фальшивые сводки...» Э-э, черти, сбили меня... вот... «Покосы колхоза «Труженик» отчасти заросли кустарником. Вместо того...»

У Саши обмякли ноги — трудно стало стоять, невозможно слушать дальше, отойти бы, сесть в сторонке, опомниться... Но Саша не посмел пошевелиться, прослушал всё до конца.

Тракторист кончил. Люди зашевелились, раздвинулись, не спеша потянулись к церковному крыльцу.

— Камешек спустили.

— Пересолили.

— Пересолили, не пересолили — тут уж разбираться поздно. Припечатали, и баста.

— Теперь, поди, не усидеть в председателях.

— А то... На всех заборах по области вывесили.

Саша отошёл, опустился на траву, под кирпичный фундамент ограды, лёг лицом вниз. А со стороны доносился разговор. Говорили просто, не боясь, что он услышит.

— Гляньте — вроде мучается паренёк-то.

— Что ему мучаться. Не его стукнули — председателя.

— Да его-то Игнат обхаживал, как добрая корова телка.

— За то, видно, он и свинью ему подложил.

— Молод, молод, а уж знает, как по чужим костям на печку влезть. Саша вскочил на ноги, зашагал прочь.

То отбегая от берега, то прижимаясь к самой воде, вдоль Ржавинки бежит тропинка. Она, как и шоссе, может привести к деревне Новое Раменьё. Но если шоссе через овраги, через угоры и поля проламывает себе прямой путь, то тропинка, как и речка, капризно вертлява. Путь по ней до Нового Раменья вдвое дольше.

Над вздрагивающими от течения камышами задумчиво висят стрекозы. Подёргивая узкими хвостиками, прыгают трясогузки по выступившим из воды камням. Солнце обливает кусты и речку со всей её непотревоженной живностью.

Ни быстрая ходьба, ни тихий уют суетливой Ржавинки не могли успокоить Сашу.

Он был помощником, он был товарищем, он был почти сыном Игнату Егоровичу. Он верил и сейчас верит, что Игнат Егорович честный человек. Как он думает о нём, Саше, в эту минуту? За спиной тайком наядничал — вот благодарность за все заботы! Люди уже говорят: «Свинью подложил... По чужим костям на печь влезть...» По чужим костям! Не по чужим, выходит, по костям Игната Егоровича! Да не хотел он никуда лезть! Как это получилось? Не понял Мансуров. Ведь только он мог сказать, он один!

Посреди речки лежали валуны. Их, ноздреватых, с зелёной слизью, неприступно молчаливых и старчески безобразных, Ржавинка игриво, помолодому щекотала водой, весело и ласково на что-то уговаривала.

Только бы не встречаться с Игнатом Егоровичем! Стыдно. Страшно. Страшен взгляд его глаз, страшен будет и голос его, а разве не страшно, когда промолчит, не упрекнёт ни в чём. Нельзя встречаться, нельзя итти в Новое Раменье. А люди?.. Там-то ведь живут те, кто знает Игната Егоровича. Если посторонние сказали: «Свинью подложил...» Что тогда скажут раменцы? Даже Настя и та должна отвернуться...

Тропинка нырнула в кусты, потянуло от земли запахом прели. С каждым шагом он всё ближе и ближе к деревне Новое Раменье. Зачем он идёт? Нельзя там показываться!

Нельзя?.. Остановиться, выбрать место поглуше, прилечь в тень на травку... Вода меж камней журчит, стрекозы висят коромыслами, трясогузки прыгают. Глядеть на всё это, слушать воду, не думать ни о чём, пролежать до ночи. А ночью — домой, к матери, собрать вещи, взять денег — и утром, с первой машиной, на станцию. Оставить здесь весь стыд и позор.

Тропинка вынырнула из кустов, врезалась в рожь. В этом году рожь вымахала высокой, колосья бьют по глазам... Он продолжает шагать. Он идёт. Куда? Зачем? Нельзя итти!

Нельзя?.. Скрыться?.. Вот тогда-то уж Игнат Егорович подумает — от стыда сбежал, вот тогда-то скажет — подлеца вырастил. Прав будет!

Саша прибавил шагу, колосья хлестали по лицу...

Всё вышло неожиданно просто. С замирающим сердцем Саша толкнул дверь в председательский закуток. Игнат Егорович встретил его спокойным взглядом, кивнул — «садись», продолжал писать. Крупная, с натруженными венами рука старательно выводила тонкой ученической ручкой букву за буквой. Наконец отодвинул бумагу, закурил, произнёс:

— Ну, рассказывай, как там вышло?

Широко раскрытыми глазами, с удивлением и благодарностью Саша уставился на Игната Егоровича. Тот усмехнулся:

— Думал, что возмущаться буду?

— Игнат Егорович! Всё не так... Всё иначе...

— А ты рассказывай. Знаю, что иначе.

Саша, сбиваясь и спеша, принялся передавать разговор с Мансуровым.

— Подлец!

— Игнат Егорович...

— Не ты подлец, а Мансуров... В нашей жизни, Сашка, есть рамки. Часто в них трудно развернуться — тесны. Надо, скажем, купить партию шифера, и деньги есть в банке, а не дают — не по смете. Надо посеять клеверу — нельзя, не по директивной установке. А эти сводки... В Кудрявине покосы позарастали лет десять тому назад, а в сводках требуют — учитывай их. Кому не приходилось обходить сторонкой эти сметы, директивы, сводки? Я обошёл: Суди меня — отвечу, но подними вопрос о том, чтоб ни у меня, ни у других председателей не случилось больше нужды



объезжать на кривой, поправь жизнь. Но разве это нужно Мансурову? Для него партийная работа — лишь лесенка, по которой удобно подняться над всеми... Что ж, Павел Сергеевич, пришла пора поговорить в открытую... Вот, Саша, прочитай: в обком пишу...

Саша взял в руки бумагу.

## 11

Велика сила слов, напечатанных на шершавом газетном листе.

Все знакомые Игната Гмызина вроде бы не соглашались со статьёй, многие даже возмущались ею, многие от чистого сердца высказывали сожаление:

— Поводил какой-то пёрышком по бумаге, глянь — матёрому мужику ноги обломал.

— После такого тумака трудно не захромать.

Игната Гмызина жалели, а тех, кого жалеют, невольно начинают считать слабыми, беспомощными, в них перестают верить.

Сам Игнат продолжал жить, как жил. Утром рано уходил на поля — не пришла ли пора начинать выборочную жатву? Днём всегда его можно было увидеть на стройке нового скотного — там бетонировали дорожки, устанавливали автопоилки. Попрежнему добродушно спокойный, уверенный в себе, нахлобучив на гладкий череп мягкую кепку, увесисто-твёрдой походкой ходил он по деревне. Те, кто видел его каждый день, мало-помалу начинали забывать о газетной статье. И только Саша помнил, не мог успокоиться.

Между сашиним домом и школой на пустыре, теперь застроенном сельповским магазином и складами, раньше стояла осина. Каждый день Саша по нескольку раз проходил мимо неё, не замечал, не обращал внимания. И вот однажды в летний день, после дождя, когда от низких тяжёлых туч лёгкий сумрак рассеян в воздухе и тусклые лужи разбросаны по дороге, Саша бросил случайный взгляд на осинку. Бросил и остановился: тонкий ствол отликает металлическим холодком, твёрдые листья невесомо окружают его, цвет их под стать стволу — неяркий, серебристо-прохладный, — осинка живёт, дышит, купается во влажном густом воздухе. В течение многих лет каждый день по нескольку раз пробегал мимо и не замечал, что она красива, стой и смотри хоть час, хоть два — нисколько не надоест. Открытие!

Так иногда поражаешься красоте человека.

Не день, не месяц, больше года знал Саша Игната Егоровича. Кажется, ничем он не мог уже удивить; кажется, наперёд известно — что скажет, как поступит. Но вот простой случай: вместо того чтоб осердиться, отвернуться после газетной статьи, он встретил простыми словами: «Рассказывай, как там вышло». И Сашу поразило — понял, без объяснений. Саша ждал обиды, уязвлённого самолюбия. Как он смел так думать об Игнате Егоровиче? Ведь знал его, жил вместе...

День ото дня росло негодование — какого человека оклеветали! Где правда? Почему не возмущаются?..

Порой появлялось желание подняться на второй этаж райкома, войти и сказать в лицо, с ненавистью всё, что знал, что думал. Глупость, конечно, мальчишество, этим делу не поможешь.

Не это ли желание заставило выложить всё перед Катей?

После той ночной встречи, когда Катя ушла, хлопнула дверь, они не перебросились ни единым словом. Саша видел её только издали.

Сбежала раз с крыльца райкома, лёгкая, быстрая, чем-то озабоченная. Ветер полоснул подолом светлого платья по загорелым ногам. Резко повернула голову, в открытое окно кому-то бросила слово.

Или же... Шёл в кино. Плечи теснит отглаженная рубашка, потная рука в кармане мнёт билет. Навстречу девчата. Среди пёстрых платьев, брошенных на плечи шёлковых косынок словно ударило по глазам — гладко зачёсанные волосы, белый лоб, под ним ровные брови, лицо и знакомое и забытое!.. Блестящие глаза вздрогнули и скользнули в сторону. Прошла мимо...

После таких встреч день, два не оставляло беспокойство — не мог сидеть на месте, бросал одно дело, хватался за другое, чего-то не достало, что-то искал. Проходили дни — успокаивался.

Дошли до Саши и смутные слухи, что Катя любит не кого-нибудь, а Мансурова, что она вечерами «все глаза проглядела» на его окна, что тот за занятостью даже не замечает её. Саша против воли прислушивался, верил и не верил, ругал самого себя: «Мне-то что? Не всё равно теперь, о чьи окна глаза мозолит».

В этот раз Саша пришёл в райком комсомола, чтобы сдать свой билет. Давно бы пора это сделать.

Попал в обеденный перерыв. В первой комнате ни души. В открытое окно влетает ветер, шевелит на столах бумаги. Заглянул во вторую комнату. Катя с гримасой упрямства и мученичества на лице одним пальцем отпечатывала на машинке какую-то бумагу. Она заметила Сашу, и он вошёл, сказал в сторону:

— Здравствуй. Я комсомольский билет хочу сдать.

— Здравствуй.

Притихшая, робкая, виноватая... Сразу же где-то в дальнем уголке души шевельнулась надежда: а вдруг да раскаялась, вдруг да захочет, чтоб было попрежнему...

— Вот...— Саша выложил на стол свой билет.

Катя взяла его, застенчиво улыбнулась, глядя на фотографию, предложила:

— Хочешь взять её на память?

— Не надо.

— А если я возьму?

— Тебе-то зачем?

— Саша...— Она подняла глаза, доверчивые, добрые, просящие. И Саша вздрогнул — неужели!.. Но он ошибся. Хоть голос Кати, как и глаза, был доверчивый, просящий, но говорила она совсем не то, что бы хотелось ему услышать.— Саша... Разве мы не можем быть просто хорошими товарищами?

— Чего зря толковать... Билет-то примешь или Клешинцеву подождать?

— В партию вступил... Недавно слышала, как о тебе Павел Сергеевич Мансуров говорил Сутолокову. Хвалил тебя...

— А я в похвале Мансурова не нуждаюсь!

— Почему?

И тут Сашу взорвало. Он высказал всё, что слышал от Игната Егоровича, что думал сам.

— ...Он карьерист, а не партийный работник! Занимается не делами — интригами! Не смотри на меня так — не боюсь! В лицо ему скажу! Всё! Прямо!..

Глаза Кати округлились. Они сначала налились ужасом, потом вспыхнули негодованием, наконец губы её скривились презрительно, лицо из доброго, мягкого стало сразу сухим, каким-то острым.

— Мелкая душонка, — оборвала она. — Ведь знаю, почему ты так говоришь. Знаю! От злобы! Из-за личных счётов! Наслушался сплетен... Я-то считала порядочным, в товарищи напрашивалась... Уходи! Уходи! Слушать тебя не хочу!..

Изогнув шею чёрным лебедем, лампа бросает яркий круг на зелёное сукно стола. Отступив в уголок от границы света, поблёскивают телефоны. Во всём кабинете мрак. Освещённый кусочек кабинета — второй дом Павла Мансурова и даже не второй, а единственный.

Если глядеть со стороны на его жизнь с Анной, она не вызовет упрёка. Между ними, боже упаси, не было ссор, жили и живут, как положено мужу и жене. Павлу не в чем упрекнуть Анну — он обедает во-время, пуговицы пришиты, подворотнички всегда чистые. Анне тоже нельзя пожаловаться... Редко бывает дома — что ж, занят по горло работой. Даже поднявшийся было нечистый слушок и тот стих, исчез, как ленивый ветерок в жаркий полдень.

И всё же день ото дня Анна становилась более чужой. Даже откровенно думать стеснялся в её присутствии. Она связывала мысли.

Думай и помни, что Анна — сестра Игната, она и без того удивлена, что Игнат стал обходить их дом, она гадается, косо поглядывает. Хочешь не хочешь — путаются мысли.

Только поздними вечерами в кабинете, когда можно не опасаться случайного посетителя, Павел чувствовал себя совершенно свободным.

Сейчас он перебирает бумаги и не спеша думает:

«Теперь в твоём же гнезде легко взять за шиворот. Соберём партийное собрание в «Труженике». Поговорим. Пора... Пусть-ка встанут в защиту! Против общественного мнения? За раскритикованного вдребезги? Кому захочется лбом на обух лезть. Как ты, Игнат Егорович, себя чувствовать будешь?.. Вот тогда и поговорим по душам. Зла-то тебе не хочу, лишь бы под ногами не путался...»

Павел толстым карандашом пометил на листке календаря: «Вызвать из «Труженика» Ногина».

«Может, не доводить до собрания? Встретиться с Игнатом, дать почувствовать, что вожжи в моих руках...» — продолжал думать Павел и тут же решительно отмахнулся. — «Не поймёт — толстокож, упрям, самоуверен. Только лишний шум поднимет — делу во вред».

Где-то был документ — прошлогодняя записка Игната, отданная Павлу, чтоб тот положил её тогда в свою папку. Помнится, там мимоходом говорится о пользе кормозапарников. Кормозапарники Игнат в прошлом году защищал, а теперь отвергает кормоцеха. Интересный документ, очень может пригодиться...

Павел выдвигал ящики стола, рылся в них. Запустив руку в нижний ящик, он вдруг наткнулся на что-то твёрдое, вытащил... Свет лампы упал на сплющенный кожаный картуз Мургина.

За тёмными окнами спало село. Только по дощатому тротуару простучали шаги запоздавшего прохожего, затихли вдали. Снизу, с первого этажа, доносился непонятный скрип и потрескивание.

Павел положил картуз под лампу. Странно было его видеть среди кабинетных бумаг — грубый, заскорузлый, с жёваным козырьком, у околыша чуть-чуть распоролся шов, подкладка бурая от пота, он всё хранит следы жизни человека, который отходил своё по земле.

Павел забыл даже, что картуз лежит здесь. О многом забыл... Не потому ли, что неприятно оглянуться назад?..

«Не у меня одного неудачи... В Шумакове, у соседей, тоже плохо с кормами! Банникова, секретаря райкома, каждый месяц вызывают в обком на бюро, записали уже выговор. Перхунов из Сумкова — авторитет! — а весной чуть ли не треть колхозов оставил без рабочей силы, ушли люди на строительство целлюлозного комбината, сорвали сев,— теперь освобождён мужик от работ... А недавно в газете раскатали соборянского секретаря райкома за то, что его уполномоченные подменяли колхозных председателей. А разве мало было неприятностей у Комелева?.. Всем труд-

но работать, но не было ведь случая, чтоб на чьей-то совести висела человеческая жизнь. Не слышно такого... Ты один, Павел Сергеевич, отличился... Один!.. Любишься теперь картузом...

Хотел быть среди людей лучшим, хотел добыть для района первенство. Думал — заметят, оценят, выдвинут в область. На опыте коршуновцев — победа всей области... Чем чёрт не шутит. Не боги горшки обжигают. Так, должно быть, и вырастают люди, управляющие государством.

Вот чего хотел. Получается иначе...

Что впереди? Долго ли идти такой неверной походкой? Каков будет конец?..»

От этих упирающихся в тупик мыслей и от ссохшегося картуза среди бумаг, вызывавшего смутные мучения совести, Павел Мансуров почувствовал себя ненужным, заброшенным. Как крот в норе, сидит сейчас в этих стенах, что-то выкапывает, что-то плетёт... Возможно, и удастся столкнуться с дороги Игната, а через неделю не поднимется ли другой Игнат? Не вечно же воевать. Когда-нибудь поднимешь вверх руки, признаешься: «Всё! Нет больше сил!» Перебросили бы в другой район, там бы начал по-новому, там бы стал умнее...

Неожиданно Павел услышал, что кто-то открывает дверь. Он нервно вздрогнул, схватил картуз, заслоняя рукой от слепящей глаза лампы, всмотрелся.

В дверях стояла Катя. Увидев, что Павел Мансуров заметил её, решительно шагнула вперёд.

— Не могу больше... — обронила она тихо и опустилась на диван. В полутьме на бледном лице выделялись большие тревожные глаза. — Хочу услышать от вас самого...

— Что с тобой, Катя?

— Павел Сергеевич, про вас говорят нехорошие вещи... Говорят, что вы... Нет, не могу повторить... Скажите: есть хоть маленькие основания упрекать вас? Мне это нужно, мне не безразлично знать...

Павел Мансуров глядел на Катю и удивлялся: как он заездился за последнее время. Забыл даже, что когда-то заронил искорку. Она разгорелась. Теперь даже не знает, как отвечать, как держаться... Не минутная прихоть, не вольность женатого человека, но и не настоящее... Для настоящего не хватило его, как не хватает и в других делах. Разве сможет она это понять?.. Сидит, кутается в платок, передёргивает плечами, в глазах боль и тревога. За него тревожится — славный человек.

— Павел Сергеевич, что ж вы молчите? — громким шёпотом переспросила Катя, подаваясь вперёд, вся взвинченная, напряжённая — вот-вот сорвётся с места.

— Катя... — ласково и грустно произнёс Павел, не зная ещё, что сказать ей, в чём признаться. В руке он держал картуз Мургина, помедлив, протянул: — Вот!

— Что это? — Лёгкие руки Кати вынырнули из-под платка.

— Не признаёшь?

— Нет.

— Эту вещь забыл в моём кабинете Федосий Мургин за несколько часов до своей смерти.

Катя вздрогнула.

— И я признаюсь в большем: если б я говорил с ним не так жёстко, он, возможно, был бы жив.

— Павел Сергеевич...

— Я человек, а не бог. Я могу ошибаться. Я хотел людям хорошего, я знал, что без дерзости, без решительных бросков его не добудешь. Я дерзнул, сделал бросок, а вокруг меня были равнодушные. Я начал с ними воевать, понял, что не обойтись без жестокости. Одному человеку я бросил несколько жёстких слов (всего несколько слов!) — и вот... вместо

человека в моих руках остаётся только его картуз... Я не железный, и меня порой охватывает отчаяние. Мне трудно, Катя.

Павлу хотелось жалости, и он её добился. Катя поднялась с трепетно мерцающими глазами на вытянувшемся, мутно бледном в комнатных сумерках лице.

— Если б я могла помочь, — дрожащим голосом произнесла она, — я бы считала подвигом в своей жизни. Но что я могу, что могу?

— Спасибо, Катя. Доброе слово — тоже помощь.

— Вы для меня выше всех. Счастьем было бы вечно быть с вами, вечно помогать вам... Никакие сплетни — ничего, ничего! — не смогут изменить моё отношение!.. Вы не знаете, кто вы для меня! Вы для меня не только любовь. Больше! Вы моя надежда! Может, глупо навязываться... Но пусть! Знайте!.. Долго молчала...

Катя выронила картуз из рук, уткнула лицо в ладони, резко повернулась. От разметнувшегося платка шевельнулись на столе бумаги. Павел не оставил её. Он долго сидел, не двигаясь, прислушиваясь, как стучат по лестнице каблуки её туфель. Ему стало стыдно...

Любит? Да! Но не его — другого! Трудно жить. Может, легче было бы признаться начистоту перед всеми?.. Скажут: запутался, напакостил — каешься. Нет, Москва слезам не верит... Пусть один... Вперёд, отступать поздно!

Уходя, Павел захватил с собой картуз Мургина, на полдороге к дому бросил его за чью-то изгородь в густо разросшуюся крапиву. Лежи здесь, недобрая память, пока не сгниёшь от дождей...

А на следующий день в райком партии был вызван Евлампий Ногин, секретарь парторганизации колхоза «Труженик».

В тот же день, поздно вечером, Евлампий Ногин пришёл домой к Игнату Гмызину. Нерешительно пощипывая бородку, виновато ворочая выпуклыми жёлтыми белками, попросил Сашу:

— Ну-ко, милоч, иди спать, мы тут с Егорычем посекретничаем.

Саша вышел, и Евлампий, придвинув бородку к самому лицу Игната, зашептал:

— Плохи твои дела... Не должен бы тебе говорить этого. Мансуров узнает — в муку меня сотрёт. На партсобрании тебя обсуждать предложили...

— Так что ж, пусть... Обсуждайте.

— Эко! Пусть... Не Сашка — знаешь, чем пахнет!

— Вы-то что, младенцы? За правду постоять не можете?

— Такой момент, нас и прижать не трудно. Газета тебя долбанула? Долбанула. Против передового ты выступал? Признано и записано — выступал. А история со сводкой?.. Её ой-ой как повернуть можно. Сунем-ся мы, а нас в один рядок поставят, в пух-прах разнесут.

— Боишься в одном ряду со мной стоять?

— Не побоялся бы, коль смог бы доказать. А как тут докажешь, когда даже в газете утверждено, что ты такой, ты сякой... Ты вот что, — боясь, что Игнат перебьёт, заторопился Евлампий, — не лезь на рожон. Если в ошибках признаешься, покаешься, не выкажешь гордыню — всё сойдёт, верь слову. Полезешь напролом, упрёшься — раздуется пожар. Не таким быкам рога обламывают...

Игнат презрительно глядел в виновато бегающие глаза Ногина.

— Одначе заячья же душа у тебя. Напрасно выбрали в секретари. Партбилет я ношу не для того, чтоб только увёртками его спасать. Когда получал, давал обещание: ежели замечу пень на колхозной дороге, ни сил, ни жизни не пожалею — выворочу. Мансуров пнём стал. Не мне теперь этому пню кланяться. Иди да на ус себе намотай.

Они расстались.

На бревенчатые стены из низеньких окон падали медные отсветы разбушевавшегося за деревней заката. Упрямо и безнадежно точила стекло залетевшая оса.

Бухгалтера, кассиры, вся контора кончила рабочий день сегодня раньше, случайных посетителей заворачивали обратно — собиралось закрытое партийное собрание, лишние могли помешать.

Пока явились на собрание трое: Евлампий Ногин, Иван Пожинков и Саша Комелев. Евлампий нет-нет да и прилипал бородкой к стеклу: не пылит ли машина, с минуты на минуту должен подъехать Мансуров.

Евлампий был одет ради собрания в чистую косоворотку, пега бородка расчёсана на две стороны, на коричневом, стянутом сухими морщинами лице застыло выражение брюзгливой измученности, какая бывает у людей, страдающих утомительной зубной болью. Он не мог спокойно сидеть, ёрзал на лавке и, обращаясь к Пожинкову, жалобно говорил без умолку:

— Я ведь было лыжи наострил из колхоза. Думаю, бабу оставлю дом стеречь, а сам — на лесокombинат. Кто меня остановил? Он, Игнат. Теперь живу хоть и не князем, а корова без сена не сохнет, подсвинка хлебом подкармливаю, не корыстные, а деньжата водятся. Лонись парню велосипед купил. А купил бы я его без Игната? Нет. Вот и рассуди — могу ли я его не уважать? Бесценный человек...

Иван Пожинков, подперев простенок широкими плечищами, склонил квадратную голову, и не понять, что он слушает — то ли Евлампия, то ли ноющую на окне осу:

— Как родного отца люблю. Он мне жизнь устроил. При нём я помодел словно... И вот теперь...

Пожинков молчал. Евлампий, не услышав от него ни сочувствия, ни возражения, продолжал:

— Мансуров из рук в руки бумагу передал. Вот, мол, выступи, и принципиально, личные счёты отбрось начисто. А в этой бумаге, хуже чем в газетной статье, на Игната каких только собак не навешано...

Пожинков молчал. Евлампий помедлил, покосился, вздохнул:

— Эх-ма! Как подумаю: буду говорить, а Игнат рядом сидит, в душу смотрит. Что делать?.. Нечего. Красней, рак, коль в кипяток попал! Отмолчатся нельзя. Поперёк пойдёшь — в райкоме спросят: с газетой споришь, общественному мнению перечишь? А ну-ко, дай пошупаем — какое в курочке яичко сидит!

Пожинков молчал. Саша сидел взъерошенный, сердито, исподлобья, поглядывал на беспокойного Евлампия.

— Слышь, Евлампий! — окликнул он. — Мне на собрании разрешается выступать?

— А как же, как же! — встрепенулся Евлампий, обрадованный уж тем, что откликнулась живая душа. — Тебе только голосовать прав не дано. Выступай себе на здоровьице.

— Тогда выступлю, — мрачно пообещал Саша.

— Только, сокол, помни: партийное собрание — не бригадирская сходка. От молодой прыти не напори чего. Каждое словечко в протокол заносится, а протоколы-то вверх идут, их там по буквам прочёсывают.

— Вот-вот, пусть прочеют. Я расскажу, как ты до собрания хвалил Игната и как на собрании всё наоборот толкуешь. Докажу — партийному собранию лжешь!

Иван Пожинков пошевелился, с интересом поглядел на Сашу, не спеша полез за кisetом. Рачьи с жёлтыми белками глаза Евлампия растерянно уставились на Сашу. С минуту он молчал, вздрагивая бородкой.

— Типун тебе на язык, — выругался незлобиво. — Пойми ты, цыплёнок недосиженный, что я спасти Егорыча хочу, спасти! Он хоть и молод,

но тоже, не дай бог, бедовая головушка — всё лбом стенку пробить норовит. Не подзуживать его надо, а уломать, чтоб мирно решилось, чтоб в председателях оставили... «Докажу — лжешь!..» Эх, хватил. Я ли лгу-то, газета же выступила, на всю область ославила. Море вокруг Игната разлилось, уж не думай — мы с тобой это море не выхлебаем.

— И это скажу.

— Задолбил: скажу да скажу. Думаешь, у нас честности меньше, чем у тебя, сосунка.

— Честный не тот, кто в карман не залез, а тот, кто другому это не дозволил.

— Эх!..

Но в это время застучали сапоги по крыльцу, распахнулась дверь, один за другим вошли люди. Низкий, покойный голос Игната спросил:

— Что сумерничаете, как на посиделках? Зажгли бы огонь.

Свет зажгли, в конторе сразу стало шумно.

— Где Мирошин? Хвастался — кучу новостей привёз.

— С лошадей к конюшне не завернул ли?

— Здесь я, здесь. Не сбежал с новостями.

При свете тусклой лампочки, нескладно сгибаясь под низкой притолокой, шагнул через порог Мирошин. Прошёл, опустился рядом с Пожинковым, прямой, даже сидя долговязый, с острым кадыком на тощей шее, с проржавленными от табачного дыма усиками.

— Да! Вот так... Не знаю только, хороши ли новости-то.

— Какие есть, за плохие бить не будем.

— Приехал к нам в район самый первый секретарь из области.

— Курганов?

— Он самый. Невысокий такой, полноватый, лицо не улыбочливое. Глаз, как и полагается, строгий. Да!

— Во-время! Не мешает ему погостить у нас.

— Может, распутает петельки.

— А ехал он в одной машине с Мансуровым. Да! Плечико в плечико сидели, как я теперь с Пожинковым.

— Ясно дело, не с тобой же ему ехать.

— Напоёт ему Мансуров.

— Мансуров-то машину остановил, за локоток меня взял и в сторонку отвёл, говорит: не буду я у вас сегодня...

— Не будет. Нам доверяет? Зря.

— Что жалеть-то, без него вольготней.

Мирошин повернулся к Евлампью:

— И ещё велел передать: собрание-де лучше отменить, так как вопрос об Игнате Егоровиче пока будем решать в более высоких... как их?.. инстанциях. Вот как. Да!

— Ого!.. Это новость, братцы.

У Евлампия от такой новости удивлённо отвисла губа. Он секунду глядел на Мирошина своими выкаченными глазами и вдруг, всегда осторожный, всегда почтительный к начальству, вскипел:

— Да что ж это? Чего он выплясывает? То настаивал, бумаги всучил, то теперь, как норовистую кобылу, в сторону бросило.

— Бросит, когда Курганов приехал.

— Боится, как бы осечка не вышла.

Евлампий не успокаивался:

— А что мне с бумагами этими делать? Хранить иль свиньям скормить? Глядеть на них не могу!

Общий шум прорезал неожиданно звонкий голос Саши:

— Товарищи! Партсобрание надо проводить! Обсудим эти бумаги! По-своему обсудим!

— Ну, ты! — цыкнул Евлампий. — Судили мыши kota...

— Э-э, Евлампий, не горячись, — возразил Мирошин. — Парень-то, гляди, толковое предлагает. Да!.. Как, ребята?

Молчаливый Пожинков, сидевший невозмутимо во время шума, придал окурку о ребро скамьи, скупно обронил:

— Верное дело.

На минуту все притихли, заоглядывались.

— Как ты, Игнат Егорыч, глядишь? — спросил Мирошин.

Игнат Гмызин стоял у входа в свой председательский закуток, заполняя узенькие двери громоздким телом. Он медленно повернул крупную, тяжёлую голову в сторону Сашы, посмотрел без улыбки пытливо, ласково.

— Умно и во-время, — согласился он.

Евлампий Ногин послушно сел за стол, привычно раздвинул пальцами бородку, произнёс:

— Ежели так... Кто протокол вести будет? — и спохватился: — Вы всё-таки шутейно или всерьёз предлагаете бумаги Мансурова обсуждать?..

Непривычно, ново, страшновато было для него начинать собрание, «не согласовав» и «не увязав»...

## 14

В четыре часа утра ещё спит село Коршуново. Даже шоссе — самый неутомимый и беспокойный труженик — отдыхает. На нём, где пыль лежит густо, остались нетронутыми зубцы от шин последнего грузовика. Их не успели растоптать ноги прохожих, их не смяли колёса утренних машин. Это след вчерашних суток, новый день не стёр его.

В пол пятого румянятся стволы берёз. С этих берёз, что окружены молодыми липками — берёзам подмышки, — взлетает галчиная стая. Беспорядочно побранившись друг с другом в воздухе, галки опускаются на пустынное шоссе и тут, как одна, становятся важными, переваливаются, деловито перелетают с места на место.

Вспугнув их, нетерпеливо прошагал первый прохожий — долговязый кассир сберкассы Акиндин Митрофаныч. В руке — прокопчённое ведёрко, на сутулом плече — удочки. И так каждое утро. Седина в бороду, бес в ребро...

Ровно в пять, как и во всяком добропорядочном русском селе, кричат петухи, поднимаются хозяйки. Всклопоченные, с пылающими после тёплых подушек щеками, хозяйки, позванивая ведрами, тянутся к колодцам.

В шесть, немилосердно гремя расхлябанными бортами, проносится первый грузовик. Пыль после него оседает на влажную листву палисадника.

В умытое небо из печных труб потянулся вялый угарный дымок.

Похоже, дюжина взбесившихся двустволок загрохотала за калиткой одного дома. То Славка Калачев завёл свой мотоцикл. Он его купил месяц тому назад и до сих пор никак не может привыкнуть к своему счастью. Ему мало вечером пролететь лихачом по селу, — день испорчен, если утром, чуть продрав глаза, не послушает мотора. Хлопки, судорожный грохот, чихание милей всякой музыки...

Время отдало людям свой обычный и драгоценный дар — сон. Подарить сон — значит подарить силы.

И чтоб этот подарок принимался радостней, часы пробуждения празднично украшены: трава особенно зелена, воздух особенно свеж, даже железные щеколды дверей, даже бревенчатые стены, даже полустёртые булыжины шоссе — тронь рукой — обласкают бодрой росяной прохладой. Вставай, человек, в чистый, обмытый, приготовленный для тебя мир! Вставай с новыми силами!

Мансуров плохо спал ночь, поднялся с головной болью. Куда, к чёрту, радоваться утру, непросохшей росе на кустах под окном — до того ли? Новый день... Если б перескочить через него...



Прошла целая неделя с тех пор, как Курганов появился в районе. Встретился он тогда с Мансуровым суховато, сообщил о письме Гмызина, пристращал: «Если из того, что написано, хоть одна треть — правда, пеняй на себя». Не ко времени такой гость, но Павла успокаивала одна фраза, брошенная вскользь Кургановым: «Пока весь район не объездим и до косточек не обшупаем, ни на один шаг не отпущу от себя...» Ездить-то вместе придётся, будет время покаяться, пожаловаться, а там, глядишь, и договориться. Не след пасовать...

Не повезло Павлу...

На следующее утро, выехав с Кургановым из Коршунова, перед въездом в деревню Тароватка Павел увидел Игната Гмызина. Тот сидел в пролётке, перегнувшись, разговаривал с дюжим парнем в рубахе распояской. Парень сидел на длинном сосновом бревне, взваленном на тележный передок. Его неказистая лошадёнка дремала в оглоблях, не обращая внимания на беспокойное похрапывание сытого гмызинского жеребца. Рано ли, поздно — Курганов должен был встретиться с Игнатом, и Павел указал:

— Может, поговорить нужно. Вон он, Гмызин-то.

Думал, что Курганов не захочет на ходу разговаривать.

Но Курганов остановил машину.

Тут же, на обочине дороги, между Гмызиным и секретарём обкома при молчаливом присутствии Мансурова и дюжего парня, с любопытством поглядывавшего из-под путаного чуба, произошёл короткий разговор.

— Товарищ Гмызин, к вашему письму нужны ещё конкретные доказательства. Когда я смогу их получить?

— Да кое-что хоть сейчас, товарищ Курганов.

— Так быстро?

— Пяти минут не займёт.

— Вот как... Что ж, попробуем выслушать это пятиминутное доказательство.

— Слушать нечего. Идёмте смотреть.

Впереди Игнат Гмызин, за ним Курганов, за Кургановым, насторожённый смутной догадкой, Павел Мансуров, на почтительном расстоянии парень, засовывающий на ходу рубаху за брюки, — двинулись в сторону от дороги, к дремотно растянувшемуся под утренним солнцем скотному двору.

Стены скотного угрожающе покосились и были подпёрты под верхние венцы брёвнами.

Гмызин остановился, кивнул головой:

— Вот... Картина для нас не редкая.

— Исправлять такие картины надо, а не любоваться, — сказал Курганов.

— То-то и оно, надо исправлять. Яков! — крикнул Игнат стоявшему в стороне парню. — Скажи: куда ты лес возишь?

Дюжий Яков смущённо склонился, выбивая каблуком сапога ямку в земле, произнёс:

— Известно куда... На том конце кормоцех строим, туда и вожу...

Курганов повернулся к Якову, с минуту оглядывал с ног до головы, спросил:

— Как по-твоему, когда этот кормоцех кончите?

Парень замялся.

— В будущем году ежели... Да то, должно, председатель знает.

— В будущем году... А ремонтировать коровник когда?

— Чего тут ремонтировать. Раскатать да наново поставить — дешево будет.

Курганов простился с Игнатом, дорогой молчал и, только завидев пылящий навстречу грузовик, попросил:

— Павел Сергеевич, задержите эту машину!

И когда недоумевающий Мансуров, выйдя на дорогу, остановил грузовик, Курганов спокойно произнёс:

— Садитесь, поезжайте обратно. Я решил один поездить по колхозам. Так они расстались.

Курганов колесил по району. На перегоне между деревнями Плёсо и Дворки он сломал свой «газик», потребовал из МТС другой и продолжал разъезжать — не угадаешь, где был, куда нацелился, что высматривает.

До Павла доходили только обрывочные слухи...

Курганов облазил всё хозяйство «Труженика» — многозначительно!

Курганов провёл целый день в колхозе покойного Мургина — неспроста.

Курганов всюду интересуется силосованием и подготовкой к зиме скотных дворов...

Наконец. дзавчера раздался звонок: «Собирайте районный партактив, готовьте доклад по вопросу зимовки скота».

Всё ясно.

Вчера вечером Курганов появился в райкоме: тронутый загаром, посвежевший на коршуновском воздухе, в галифе, в громоздких сапогах.

Сейчас он вместе с коршуновцами встречает утро...

Догадывается ли, что творится в эти минуты на душе у Павла Мансурова? Возможно. Впрочем, вряд ли поймёт пастух овцу. Поговорить с ним надо начистоту, но не по-овечьи...

Павел умылся, сел, чтобы выпить стакан чаю. Анна, уже причёсанная, одетая, сидела за столом. Светлое, с голубыми наивными цветочками ситцевое платье молодило её. Она привыкла ничем не интересоваться, ни о чём не расспрашивать, молчала, как всегда.

Тревога ли, может быть, тоскливое чувство одиночества заставило Павла вдруг понять — пусть она далека от него, а всё же ближе никого нет на свете. Никого кругом!

— Анна, — произнёс он осторожно, — на меня сегодня обрушатся...

Анна вопросительно взглянула на мужа.

— ...Все кругом настроены твоим братом...

Она долго молчала, наконец спросила:

— Для чего ты мне это говоришь?— Подождала, не скажет ли он что, и добавила: — Может, это к лучшему.

Павел молча допил свой стакан.

Жену не тревожит его беда, какого же сочувствия ждать от других? Никто, только он сам может защитить себя. Надо поговорить с Кургановым начистоту, другого выхода нет.

Павел шёл по улице в своём вытуженном летнем кителе, в начищенных сапогах, как всегда чуточку щеголеватый и торжественный. Ни резко выступившие скулы, ни усталые круги под глазами не изменили на лице привычного достоинства.

Встречные, как всегда, почтительно здоровались с ним.

Ухабистые просёлки, деревни, то разбросанные среди полей, то растянувшиеся по берегам весёлых речек, деревни, утопающие в картофельной ботве, бесконечные встречи: старухи, девушки, парни, неторопливые разговоры средь мужчин с неизменными цыгарками — день за днём раскрывался Коршуновский район, дальний уголок области, руководителем которой был он, Курганов.

Из всех пёстрых собеседников в этой поездке последним оказался агроном МТС Чистотелов. Курганов столкнулся с ним в одном из колхозных правлений и попросил сводить его на поля.

— Боюсь, загоняю вас. Вразвалочку-то ходить не умею. — Чистотелов из-под нависших бровей пристально с ног до головы оглядел секретаря обкома.

— Кто кого загоняет. На мой животик не смотрите. Я, брат, охотник. В горах по козым тропам лазил, диких козлов бил.

— Коль так, идёмте...

Переходя с поля на поле, вели обычные разговоры: о нехватке минеральных удобрений, о клочковатости полей, разбросанных по лесам, о трудностях обработки их машинами.

Уже на обратном пути попали под дождь, короткий и сильный, вымокли, но Курганову было жарко — грела ходьба.

Огрузневшее вечернее солнце затонуло в лиловом мареве. Между чёрной землёй и тяжёлым плоским облаком, как раскалённая река среди берегов, разлился багровый закат.

Шли полем льна. Лён давно отцвёл, сейчас на каждой зелёной головке висела дождевая капля, тянула к земле. И эти капли, все как одна, украли у растекшегося по небу пламени частички света, мизерные дольки — капля не может украсть больше капли. Раскинулось вокруг тёмное поле, на нём миллионы льняных головок истекают мягким светом. Куда ни глянь — всюду бережливо висят над землёй робко тлеющие огоньки. Они разбиваются о голенища сапог...

Курганова в эти дни ни на минуту не оставляла тревога. Сейчас — то ли от застойной неподвижности в природе, подчёркнутой сияющими дождевыми каплями на головках льна, то ли от того, что спутник подвернулся не из болтливых, не мешал думать, — тревога выросла, сжала сердце Курганову.

Он считал себя принципиальным руководителем — не жаловал лстецов, не бил с высоты своего положения тех, кто осмеливался возражать. Работал и был покоен: он понимает людей, люди — его.

Но теперь в Коршуновском районе этот покой мало-помалу исчез. Он вдруг почувствовал, что ошибался, не всегда-то хорошо понимал людей.

Оценивал: кто добросовестно исполняет поручения, кто не плачется на трудности, тот истинный руководитель. Мансуров всё выполнял, Мансуров не жаловался, больше того, хватал на лету любую идею, рождающуюся в стенах обкома. В нём ли было сомневаться?..

И вот племенной скот, загнанный в дырявые коровники, близкая зима и... сводки: начато строительство кормоцехов, подвезено столько-то леса, заложен в таких-то колхозах фундамент...

Чистотелов, видно, понял молчание Курганова, он обернулся и произнёс:

— Вот оно как... Издалека-то, бывает, и петух на насесте за ястреба сойдёт.

— Мне намёк? — спросил Курганов.

Тяжёлые брови Чистотелова двинулись вверх, открыли спрятанную усмешку в светлых запавших глазках.

— Что там намекать... Раз человека бросает из одного конца района в другой, значит задело за большое.

— Задело, — признался Курганов. — Что скрывать — обманулся.

— Э-э, только ли вас обманул он! Вы-то в городе сидели, мы рядышком с ним жили, каждый день бок о бок отирались и не заметили, как расцвёл цветочек. Я сам поначалу за него горой стоял.

— На что же клюнули?

— На лён. Горячо он за лён схватился, документы собирал: мол, по таким-то и таким-то причинам плохо растёт... Оказалось, нужен ему не рост льна, а свой рост в райкомовском кресле.

— Что ж вы в обком знать не давали?

Чистотелов хмыкнул в жёсткие прокуренные усы, кольнул из-под бровей взглядом.

— Не догадываетесь?..

— Нет, не догадываюсь.

— Просто побаивались: вам же выгодней Мансурову верить, чем, скажем, мне или Игнату Гмызину.

— Это почему?

— Потому что, кто, как не обком, Мансурова за верёвочку дёргал. Вам хотелось, чтоб он дело делал, а он по-своему выплясывал.

— Приехал же я... разбираюсь... не Мансурова сторону держу.

— Это теперь, когда доспело. Приехали бы в прошлом месяце, у Мансурова тогда только кой-где треснуло, долго ль ему перед вами, приедем человеком, все щели замазать.

Закат потускнел. Лён всё ещё мокро хлестал по сапогам, но уже сияющие дождевые капли не было видно. Природа побаловала своими маленькими радостями и спрятала их до другого раза.

— Значит, по-вашему, обком виноват? — перебил минутное молчание Курганов, исподтишка разглядывая спутника.

Длинный, сухой, кадыкастая шея вытянута. На фоне отливающего бронзой заката чётко виден рубленый профиль — из кустистости бровей выгнулся массивный нос с хрящеватым выступом на изгибе, крепкий, шероховатый от щетины подбородок подпирает ровно срезанные усы.

Чистотелов не повернул головы, спокойным голосом ответил куда-то в пространство:

— Вы сами так считаете, иначе бы эти дни возле Мансурова сидели.

Курганов долго шагал молча, наконец усмехнулся:

— Считать так — не значит ещё признаться. А признаваться надо.

— Не лёгкое, видать, дело, — посочувствовал Чистотелов.

Впереди, стиснутое тёмной зеленью полей, синело шоссе. У обочины маячила неподвижная машина: это шофёр Курганова выехал их встречать...

Вернувшись в Коршуново, Курганов поселился у Чистотелова.

Утром перед собранием партийного актива он, как и Мансуров, поднялся рано. Пробуждающееся село с розовеющими от солнца стволами берёз, с хозяйничающими на пустынном шоссе галками вдруг вызвало в Курганове непонятную радость. Все эти дни на душе лежала тяжесть, всё это время он засыпал и просыпался с тревогой. Сегодня легко...

Какой-то долговязый паренёк с полотенцем на плече размашисто прошагал по безлюдной улице в сторону реки. И Курганову вдруг самому захотелось до нетерпеливого зуда в теле окунуться в обжигающую холодком утреннюю воду.

Он тихонько зашёл в дом, достал из своего чемодана мыло и полотенце.

На реке из-под прибрежных кустов клочьями выползал туман. В тени он был синий, тяжело льнул к воде, выбираясь на солнце, сразу же розовел, становился невесомым, растворялся в воздухе.

Легко — да, это так! Сегодня он, секретарь обкома Курганов, сбросит груз. Игнату Гмызину, Чистотелову, всем партийцам Коршуновского района он признается, в чём был виноват, откровенно.

Через два часа Курганов, в выутюженном костюме, при галстукe, недопустимо суровый на вид, был в райкоме. А у крыльца райкома, у Дома культуры останавливались повозки, машины, верховые — народ съезжался на совещание.

С полудня до вечера в Доме культуры будет идти совещание партийного актива. А вечером для участников этого совещания коршуновский кружок самодеятельности даст концерт.

Под сценой в полуподвале — две комнаты. На бревенчатых стенах висят пыльные парики, в конторском шкафу хранятся костюмы, в одном углу стоит большой барабан с медной тарелкой на макушке — его вытаскивают наверх, когда нужно изобразить гром. Есть труба, не находящая применения. Есть старая фисгармония. Есть гримировальный столик с трюмо, крапленным по стеклу ржавыми пятнами.

Перед концертами в этих комнатах воюет кладовщик райпотребсоюза Василий Васильевич Боровсков. Почтенный возраст (Василию Васильевичу за сорок), куча детей, злая жена, даже фронтовое увечье — остался без ноги, — ничто не смогло заглушить его любовь к святому искусству. Он со своей лысиной, тощей фигурой, висящей на костылях, всё ещё продолжает иступлённо мечтать, что когда-нибудь да сыграет Гамлета. «Я так её любил, как сорок тысяч братьев любить не могут!» — частенько читал он кому-нибудь со слезой.

Сейчас он прыгал среди своих доморощенных актёров, всем возмутился, роняя на пол костыли, хватаясь руками за лысину, кричал:

— Вы кафтан принесли! Чацкий в кафтане! Варвары!

Кате надоела эта репетиционная суета. Сюда, в полуподвал, доносился приглушённый шум из зала — собирались участники совещания.

В последние дни приходилось слышать нехорошие разговоры о Павле Сергеевиче. Не понимают люди, что Павел Сергеевич — человек поиска. Поиски без ошибок невозможны! Сегодня утром издалека видела Сашу, приехал вместе со своим Игнатом Егоровичем на совещание. Искренний, честный парень, а попал в руки Гмызина, поёт его голосом. Этот Гмызин — по одному виду можно судить — человек самоуверенный: краснолицый, широкий, идёт, раскачивает плечищами, сам чёрт ему не брат. Саша рядом — штаны пузырями на коленках, а кепчонка на затылке — тоже петушок. Перед такими-то Павел Сергеевич сумеет себя отстоять.

Народ собирается на совещание, пора и Кате идти в зал.

По узенькой скрипучей лесенке она поднялась на сцену, заставленную старыми декорациями. Пахло олифой, пылью, чем-то нежилым, неуютным: задворками театра. Шарканье ног, голоса, скрип стульев — весь шум постепенно заполнявшегося народом зала здесь был слышен уже не приглушённо. Эту заднюю часть сцены от того места, где стоял длинный красный стол президиума, отделял лишь занавес.

Из-за косо стоящей фанерной колонны с облупившейся побелкой Катя неожиданно увидела около занавеса двух человек. Коренастый, крепко стоящий на расставленных ногах, секретарь обкома Курганов, заложив за спину руки, выжидательно снизу вверх смотрел на Мансурова. Павел Сергеевич, вытянувшийся, какой-то собранно-решительный, тоже в упор щупающим взглядом уставился на Курганова. По выражению его лица Катя поняла, что идёт такой разговор, где свидетели нежелательны, и что ей в эту минуту просто неудобно проходить мимо, лучше переждать.

— Мне очень хотелось сказать вам несколько слов, — негромким, но чётким голосом говорил Мансуров, — в последние дни никак не мог улучить время встретиться наедине.

Кате было видно его похудевшее лицо, остро обозначившиеся скулы, глаза в усталых коричневых глазницах потеряли знакомую твёрдость, ищущим, щупающим взглядом они блуждали по Курганову. Какая-то пронзительная, нежная жалость залила Катину душу — страдает, никем не понятый, кроме неё, Кати, для всех чужой.

— А почему нам нельзя было говорить на людях? — возразил Курганов. И Катю покорибил его сухой, недружелюбный тон.

— Мне кажется, Алексей Владимирович, есть вещи, которые безрас- судно выносить на широкое обсуждение, не поговорив о них заранее.

Курганов лишь поглядел с подчёркнутым вниманием на часы.

— Мне тяжело признаться, — продолжал Мансуров, — но приходит- ся... Со всей откровенностью, с болью, Алексей Владимирович, говорю вам: да, я понял — Гмызин прав... Прав целиком...

«Целиком?.. Зачем же так? Гмызин не может быть прав целиком! — К жалости Кати прибавился страх. — Неужели испугался? Невозможно! Не тот человек!»

— Я перегнул со скотом. Моя вина — не послушал советов, не рассчи- тал, не спохватился во-время... А история с кормоцехами, когда отмах- нулся от здравых предупреждений...

«Со скотом не прав, с кормоцехами не прав?.. Что он говорит?» — Катя, сжавшись, с испугом следила за Мансуровым, а тот тем же негром- ким, твёрдым голосом продолжал:

— Как видите, Алексей Владимирович, я ничего перед вами не скры- ваю, выворачиваю душу. Если прежде меня можно было упрекнуть в нечестности, если до сих пор я изворачивался, боялся, как бы обо мне плохо не подумали, то теперь хочу говорить открыто...

— Когда говорят открыто, не прячутся за углом, товарищ Мансуров. Душу нужно открывать там! — Курганов кивнул на занавес.

Всё было непонятно. Странно поведение Павла Сергеевича, странно и то, почему не удивляется Курганов. Разве можно спокойно слушать такие слова, разве можно не поражаться?

— Сказать там — никогда не поздно... — По усталому лицу Павла Мансурова пробежали досада и раздражение и тут же исчезли, в голосе зазвучало отчаяние.— Алексей Владимирович! Кто не хочет быть чест- ным? Кому не в тягостно, оступившись однажды, нести на своих плечах ложь? Помогите очиститься. Не отталкивайте, не топчите... Поверьте, в другом месте, уехав из Коршунова, я очишусь от грязи, с самой решитель- ной, с самой горячей радостью забуду прошлое!

— Значит, я должен поставить вопрос о переводе вас в другой район?

— Переведите или пошлите в партийную школу, помогите сбросить всё коршуновское...

— Короче говоря, вы просите: помогите спрятать от людей поганень- кие дела.

Катя, окаменев, стояла за бутафорской колонной и слушала.

От последних слов Курганова Павел Мансуров распрямылся, глаза потемнели, рот жёстко сжался.

— В вашей воле переиначивать мою просьбу, я же прошу—и это моё право — дайте возможность стать мне снова честным коммунистом.

— Честным коммунистом?.. Для коммуниста преступно не то, что он допустил ошибку, вдесятеро преступней скрыть её! Вы в течение многих месяцев замазывали, прятали ошибки, теперь осмеливаетесь предлагать мне: скройте меня с прошлыми грехами, помогите стать чистеньким. Не выйдет это, товарищ Мансуров!

— Так... Не выйдет... Мои ошибки!.. Вы хотите, чтоб я о них сказал во всеуслышание, там? — Мансуров кивнул на занавес. — Что ж, скажу. Скажу: я стал таким, пусть судят. Но кто виноват в том, что стал таким? Кто поощрял меня, когда я не по силам решил набрать племенной скот? С чьего молчаливого одобрения я настаивал на строительстве кор- моцехов? Я лез по зыбкой дорожке, но кто меня подбадривал и словом, и бумажкой, и добрым сочувствием? Мне придётся обо всём говорить, товарищ Курганов!

Курганов, невысокий, прочно упирающийся расставленными ногами в пол, заложив руки за спину, стоял, поглядывая на Мансурова исподлобья,

и только на его крепкой шее, над воротником, туго перехваченным галстуком, узелками вздулись вены.

— Очень хорошо, — спокойно заговорил он, — хорошо, что скажете. Я свои ошибки прятать не собираюсь. Не только вы, я и сам скажу. Не беспокойтесь, буду требовать для себя жёсткого суда! И неужели вы думаете, что сумеете запугать, что я поддамся на шантаж, соглашусь скрывать от народа свои грехи, а вместе с ними и ваши? Ошиблись, не все на ваш манер скроены!.. Да что тут метать бисер — идёмте, нас ждут!

Курганов шагнул к занавесу и задержался, снова повернулся к Мансурову:

— Сейчас ваш доклад. Не забудьте упомянуть в нём о том, какую сделку мне только что предложили.

Он исчез за занавесом.

Расправленные плечи Мансурова обмякли, подобранность исчезла, он стоял, не двигался, потом бочком, болезненно приподняв одно плечо, полез за занавес...

Стихли покашливание и шорох. В зале за занавесом, во всём просторном здании районного клуба наступила внимательная тишина. На столе президиума шелестели бумаги...

А в тёмном углу сцены, среди свёрнутых холстов на полу, среди щитов, оконных переплётов, дверей, каких-то брусьев с торчащими гвоздями, сжавшись в комок, пачкая платье о побелку фанерной колонны, давилась в молчаливых рыданиях Катя, маленькая, потерянная в этом пыльном хаосе.

Саша сидел рядом с Игнатом Егоровичем. Светлые волосы старательно зачёсаны, только над крутой выпуклостью мальчишечьи чистого лба упрямый зализ поднялся воздушным вихорком. На трибуне, медленно копясь в бумагах, собирался начать свой доклад Мансуров. Саша, не мигая, уставился на трибуну — ждёт. Только где-то в уголках плотно сжатого рта можно заметить волнение. Он готовится выступить, он сегодня вместе с другими будет решать серьёзные партийные дела.

